

КЛЮЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

23–25 октября в Томске открылись Всероссийские Ключевские чтения. Они будут проходить в г. Томске регулярно.

В этом году в Томском государственном университете пройдет научно-практическая конференция «Художественное наследие Н. Клюева». Будет учреждена Всероссийская литературная премия имени Николая Клюева. В следующем году будет открыт памятник выдающемуся поэту, пройдут многочисленные памятные и просветительские мероприятия. Программа утверждена губернатором Томской области.

Литературное завещание Николая Клюева

Есть две страны: одна – Больница,
Другая – Кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!
Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывную кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:
«Ку-ку! Откройте двери, люди!»
«Будь проклят, полуночный пёс!
Куда ты в глиняном сосуде
Несёшь зарю апрельских роз?!
Весна погибла, в космы сосен
Вплетает вьюга седину»...
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну.
И вижу: тётушка Могила
Ткёт жёлтый саван, и челнок,
Мелькая птицей чернокрылой,
Рождает ткань, как мерность строк.
В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчиценой трубы
Читаю нити: «Н.А. Клюев –
Певец олонецкой избы!»
Я умер! Господи, ужели?!
Но где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!

Вот почему в кувшине розы,
И сам ты – мальчик в синем льне!..

Скрипят житейские обозы
В далёкой брэнной стороне.
К ним нет возвратного просёлка,
Там мрак, изгнание, Нарым.
Не бойся савана и волка –
За ними с лютней серафим!»
«Приди, дитя моё, приди!» –
Запела лютня неземная,
И сердце птичкой из груди
Перепорхнуло в кущи рая.
И первой песенкой моей,
Где брачной чашею лилея,
Была: «Люблю тебя, Рассея,
Страна грачиных озимей!»
И ангел вторил: «Буди, буди!
Благословен родной овсень!
Его, как розаны в сосуде,
Блюдёт Христос на Оный день!»

Томск, 1937

Литературным завещанием писателя принято называть одно из последних значительных произведений, по которому можно судить об окончательной зрелости мастера. Это не обязательно обращение к потомкам, но, хотя бы косвенно, подведение итогов, самоотчёт художника.

Последнее из известных нам стихотворений Клюева – «Есть две страны: одна – Больница...», – хотя и опубликовано уже неоднократно, остаётся, в сущности, непрочитанным текстом: пока есть две заметки. Написано оно в стиле предсмертного завещания, и значительность его несомненна. Интуитивно мы ощущаем его глубину, и это обязывает дать развёрнутое истолкование текста. Комментарий – задача более простая: исторические реалии – «большой террор», ссылка, казнь без суда – изучены, более или менее, поняты. А вот религиозно-философское описание, смысловые границы – это задача литературно-критическая, актуализация, хотя произведение создано больше семидесяти лет назад. Как живёт текст в современной России? Что открывают в нём для себя нынешние поколения? Толковать текст можно и конкретно исторически, и символически – в религиозно-философском ключе. Стихотворение цитируют на уроках литературного краеведения и находят в нём приметы Томска середины 30-х годов XX века, но мы этот путь оставляем в стороне. Как заметил Майкл Мейкин, это произведение «входит в известную серию сознательно предсмертных стихотворений русских авторов».

О творчестве Клюева в Томске мы можем судить только по одному этому стихотворению, посланному в 1937 году в письме А. Яр-Кравченко. Другие оказались «в чужих жестоких руках». Сибирская ссылка стимулировала трагическое самосознание поэта – об этом говорят письма. Пока пил и скандалил рядом «лютый скот», запинаясь о лежащего на полу старика, похожего на попа, тот размышлял о близкой смерти, о судьбах русского народа. О силе и бессилии слова в годы русского апокалипсиса.

Первым делом надо коснуться темы завершения пути поэта. Как окончательно сложилась его картина мира? Не все, наверно, замечают актуализацию темы «Памятника» (Гораций, Державин, Пушкин). Это прощание с жизнью, с Россией; этим стихотворением поэт не только пригвоздил творцов геноцида, но и апеллировал к высшей ценности – к Спасителю. Тут надо использовать и близкий контекст, и отдалённый – это дело будущих читателей.

О стихотворении «Есть две страны...» беседуют исследователи творчества Николая Клюева **Ярослав Золотарёв** и **Александр Казаркин**.

Золотарев: Попытаемся прежде всего выделить основные мотивы стихотворения: мировая иерархия (космос, земля, социум); радость – страдание; жизнь – болезнь – смерть; добро – зло; символ веры (религиозные мотивы); гендерный мотив (старик – дитя); географические приметы и символика цвета.

«Печальных сосен вереница, Угрюмых пихт и верб седых...» – первая строфа задает исходные координаты: между больницей и кладбищем находится растительный мир. В этом пространстве блуждает человек, исповедальное Я. Потеряв «свою клюку», он обращается к последнему артефакту – кладбищу: «И заунывною кукушкой Стучусь в окно к гробовщику». Кукушка в русском фольклоре – символ краткости человеческой жизни, по ней гадали, сколько жить осталось.

Далее выделены «розы в сосуде», и этот символ варьируется, его отвергают и славят. Отождествление с животным миром продолжается в образе «полуночного пса». На просьбу: «Ку-ку! Откройте двери, люди!» следует ответ «гробовщика»: «Будь проклят, полуночный пёс!» А вопрос гробовщика: «Куда ты в розовом сосуде Несёшь зарю апрельских роз?» – явно из ощущения ненужности роз в этом мире.

Казаркин: Итак, мы имеем дело со средневековым жанром видения. Последний взгляд назад: «Там мрак, изгнание, Нарым». Вид из послесмертия меняет все детали в значении, в масштабе. Важнейший момент – переселение птичкой в рай, в послесмертие. А в этот момент появляется обратная перспектива, взгляд с неба, и всё получает новое значение. «Мальчик в синем льне» – это душа, растворяющаяся в небесном просторе. На вопрос о собственной смерти поэт получает ответ, но уже явно не от Гробовщика, – а от незримого и неназванного. Это

весть абсолютно истинная. Тут уже не языческий мотив судьбы, а Божья воля:

И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!
Вот почему в кувшине розы
И сам ты – мальчик в синем льне!..»
Скрипят житейские обозы
В далекой брэнной стороне.

Это иконная перспектива, и краски – иконные. Для «гробовщика» он – «полуночный пёс», а для себя – душа в синем саване.

На вопрос: «Я умер?» – он слышит: «*оборван твой предсмертный плач*». Апрель противоположен октябрю, месяцу казни поэта, по отношению к равноденствию они полярны и отстоят каждый на месяц. Хотя упоминается апрель, изображён-то октябрь. В письмах из Томска Клюев не раз высказывал опасение, что не доживёт до весны. Так вот, судя по погоде, на дворе зазимок: «пляска ветродуев» – конец октября. Точное предчувствие: жизнь поэта оборвана почти точно в день его рождения.

Читателю важно ощутить: это был его расчёт с эпохой. Советская цензура замуровала поэта, казалось, отгородила его от большого времени, но он апеллирует к предельному масштабу. К тому, в котором советской литературы просто нет, а голос Клюева – есть. Это голос христианского поэта, поставившего правильный диагноз эпохе безбожия.

Золотарёв: Ангел призывает не бояться смерти, символы которой – саван и волк. Там, после смерти, мученика встречает небесная музыка. Упоминание реалий жизни («*житейские обозы*») – только с описания послесмертного состояния. В раю же – вечное бытие.

Это не поэтическая фантазия, все образы для автора – реальность, в то же время по тематике это именно мистическое видение. Некоторое сомнение в реальности смерти («Я умер?») есть вопрос о её сущности. Для христианского сознания характерно чёткое различие идеального и неидеального миров, а для языческого – восприятие даже снов как неотличимых от реальной действительности.

Казаркин: Но вслушаемся: «*зарю апрельских роз*» поэт нёс, оказывается, в ознаменование своей смерти! «*Весна погибла*» – не дождался он её и уже не сожалеет о «*житейских обозах*». «*Запела лютня неземная*», и сделалось многое ничтожно малым. Рай здесь – награда за мучения, противоположность «изгнанию, Нарыму».

На последние четверостишия ложится нагрузка завершения творческих исканий поэта. Тут появляется образ песни как брачной чаши, вероятно, преобразование мотива-символа священного сосуда. В на-

чале это глиняный кувшин, далее – символ райской радости, а в финале – окончательное осознание – сосуд, сохраняемый до дня всеобщего преобразования! Таков ответ «клеветнику искусства» – «гробовщику». Но и в раю поэт не забывает свою «песенку»: «Люблю тебя, Рассея, Страна грачиных озимей!». Парадокс вот в чём: песня эта – о реальной, земной России, а не об идеальной китежской Руси. На земле пел о небесном, а на небе – о земном. И главное – Ангел вторит, благословляет... языческий Овсень! Это освещение земного из вечности; стало быть, песня вдохновлялась Божественной волей.

Христос «блюдет» языческий образ мира?! Да, Клюев остался поэтом русского двоеверия.

Александр Казаркин**ПОСЛЕДНИЕ ВОПРОСЫ КЛЮЕВА**

Большой крест над оврагом – знак покаяния. Здесь в годы Великого террора зарыты сотни, нет! – тысячи казнённых. Несётся, мчит мимо поколение, полюбившее «бабло» и «тачки», и многие ли успевают задуматься, постоять здесь? А думается здесь о мистике русской судьбы. Предмет не злободневный для потребителей поп-культуры. И страшно актуальный для осмысленья русского опыта.

Немало ссыльных перебывало в Томске, из литераторов самое крупное имя – Николай Клюев. Когда травля только началась, он сказал: «Я из ста миллионов первый Гуртовщик золоторогих слов. Похоронят меня не стервы, А лопаты глухих веков». Именно *стервы* подвели его под расстрел и сбросили в братскую могилу, но сказанное им справедливо: имя народного поэта будет похоронено только с его народом.

Тяжкий удел поэта – не новость в России. Но Клюеву выпала участь тягчайшая. Не только облыжно обвинён и расстрелян бессудно, – уничтожено, может быть, лучшее из написанного им. Мы можем только гадать, какими были поэмы, написанные им в Томске. Опору даёт последнее стихотворение «Есть две страны...». Невероятно: опухший от голода, побиравшийся человек писал стихи и поэмы.

Народным златоцветом назвала его предреволюционная критика. А «Литературная энциклопедия» 30-х годов нарекла его *отцом кулацкого стиля*: «Клюев является одним из виднейших представителей кулацкого стиля в русской литературе». Квалификация, в принципе, верная, не батрака же идеализировал поэт, подразумевал крестьянина зажиточно. А вот нынешний рекламный стиль: «Из крестьян-сектантов. В юности жил в Соловецком монастыре, ездил по поручению секты хлыстов в Индию, Персию». Эта баснословная характеристика оскорбила бы родителей Клюева, православных, не говоря уж о вояже в Индию. Но так живёт «хлыстовская» легенда, созданная самим поэтом. Знатоков подлинного Клюева при жизни было мало. Не так уж много их и сейчас. Облик его заслоняют легенды, им же и пущенные в мир.

Около полувека его помнили только русские эмигранты. К концу века «заскрипел заклыйтый засов», издают Клюева на родине, но оценка его наследия – всё ещё нерешённая задача. Традиционалист? Нет, в равной мере и модернист. Старовер? Нет, скорее сектант. В письме Блоку так и заявил: «Не считаю себя православным...». Ни в одном стане не признали его своим: всегда оказывалось что-то «лишнее». Стих Клюева – это барокко XX века. Стилизованное богоискательство, языческие гимны и апокалиптика слиты в причудливое единство. Здесь и монументальная фреска матери-родины, и моление «запечным богам», и образ народа, гибнущего в одержимости, и видения «конца света». Акценты расставляют по-разному: одних влечёт охранитель устоев, других – стилист-экспериментатор.

Так или иначе, хотя бы заочно, он прошёл школу символизма. Петербургские журналы и литературные салоны приняли Клюева как ученика Блока, но его отношение к символизму сразу было критическим. Только после этого обратился он к ближайшему наследию – фольклорному. Уроки символизма сказались в двуголосом слове – в стилизации. Ведь он вырос в «былинном заповеднике», в его родном Заонежье столичные знатоки записали «ста'рины» – песни-сказания. В стилистическом узорочье он соперничает с Ремизовым, самым искусным из прозаиков-символистов. Не только в стилистике видна близость, но и в смешении языческих мотивов с христианскими. «Пахоту поит слюной смуглый господь избяной» – клюевская христология под вопросом, долго преобладало в нём хлыстовское: «Я родил Иммануила – загуменного Христа».

Совмещение несовместимого видно в поведении Клюева: он и старовер, и хлыстовец, и хранитель устоев, и модернист. Одновременно создаёт он *радельный* гимн «Мать-суббота», и поэму о кротком православном священнике – «Зозерье». В апокрифической исповеди «Гаргарья судьбина» он приверженец хлыстовства, чуть было не оскоплённый «братьями-голубяями», а в «Праотцах» – будто бы ревностный старовер, «отпрыск Аввакума». Он и в партию большевиков вступил, и в церковь ходил. Вот тут весь Клюев. Два комплекса боролись в нём – аввакумовский и распутинский, их переменение и дало причудливый, барочный образ мира. Стиль этот рождён пограничной эпохой, наложением модернизма на средневековое мировосприятие.

«В художнике, как в лицедее, гнездятся тысячи личин» – это самооправдание Клюева, а также девиз эпохи жизнетворчества, театрализованного поведения. Бунин назвал предреволюционную литературную среду обществом ряженных: «Один, видите ли, символист, другой – марксист, третий – футурист, четвёртый – будто бы бывший босяк... И все наряжены...» Оглядевшись в этой среде, выходец из Заонежья, «от медведя посол», создал свой имидж-миф: «Я посвящённый от народа, На мне великая печать, И на лицо своё природа Мою прияла благодать». Вслед за символистами забрёл он в пространство богоискательства. Это был языческий ренессанс: древняя мифология явилась в облатке гностицизма. Всерьёз, системно изложить религиозно-философские взгляды Клюева пока никто не взялся. Философским жаргоном говоря, дихотомия тела и духа доведена у него до предела. Основа конфликта – противостояние небесного и земного, причастность человека обоим планам.

Герой клюевских песен-гимнов – бывший небожитель, а на земле он – ссыльнопоселенец:

Небесной родины лишён
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий пустыне.

Во время радельных молений, в этой коллективной одержимости, души вспоминают, как «в свете незакатном пребывали, мёд небесный, росу райскую вкушали». Вечный круговорот: одни умершие ста-

новятся светлыми ангелами, другие демонами. Далековато от христианства, больше всего напоминает причудливые философские поэмы Маркиона или Филона Александрийского. Или более близкого гностика – Андрея Белого, изобразившего обряды «братьев-голубей», христоверов-полуязычников.

Революция в ранних поэмах Клюева не всамделишная, не грозная. Она потребовала хлыстовского экстаза, и поэт ответил: «На евхаристии шаманов я отпил крови и вина...». Да, консерватор, прославившийся машинофобией, воспел вдруг революцию, правда, в сектантском духе: «Когда колдунью-Страсть с владыкою-Блудом Мы в воз потерь и бед одрами запряжем, Чтоб Время-ломовик об них сломало кнут...». Какая тут может быть классовая борьба! Хлыстовская революция не удовлетворяется социальным переворотом, хочет полного телесного преобразования, – «чтоб Дьявол стал овцой, Послушной и простой, а Лихо чёрное грачонком за сохой». Но эта радостная апокалиптика смыкается с авангардом, и поэт должен был выбирать: вперёд двигаться или назад. Да, стихи времени революции отмечены крайней шаткостью («Убийца красной святей потира...»), но постепенно нарастают трагические восклицания. Для позднего Клюева революция – сатанинский вызов.

При чтении циклов «Ленин», «Долина единорога» и «Медный кит» невольно вспоминаются слова Андрея Белого: «...над человечеством разорвётся фейерверк химер». Старовер-декадент – химера, очень характерная для нисходящей фазы национальной культуры. Но геноцид не позволил толковать события в игровом плане, поэт убедился: мир всё дальше отходит от Христа. Начиная с «Плача о Сергее Есенине» стиливая стихия – причитание. Она сформировала две главные поэмы – «Погорельщину» и «Песнь о великой матери», она слышнее всего в цикле «Разруха». Вполне вероятно, что в Томске поэт восстанавливал и заканчивал отнятую «Песнь о великой матери», а возможно, создавал поэмы из фрагментов, названных «Каин» и «Разруха». Судьба зачем-то дала ему три года жизни (в Колпашеве он обречён был на скорую смерть), но при этом отняла почти всё написанное. Не будем кивать булгаковскому Дьяволу, будто рукописи не горят. Но затаим надежду: а вдруг они откроются – в урок нам, переставшим видеть скрытый план истории.

Надо понять, какой сегмент исторического пути России помечен именем «Клюев». Какой стадией национальной жизни – восходящей или нисходящей – порождена его стилизация? Главный урок символизма: «олонецкий Лонгфелло» попал в сети гностицизма. Вряд ли он в этом отдавал себе отчёт. На русской почве «поддонное» мироотрицание выродилось в скопчество. По мнению С. Зеньковского, знатока русских ересей, хлыстовство и скопчество отпочковались от богомилства – от гностической претензии к творенью Божьему. Тут вот что удивительно: корень-то у революционных утопий и мистических ересей один – отрицание сложившегося миропорядка. Но если раньше Клюев изображал революцию как праздничное самооскопление, то в последних поэмах актуализирован мотив тёмной одержимости. В философском плане самое важное – отход поэта (в отличие от главных певцов Серебряного века) от гностицизма.

В его жизни можно различить несколько творческих подъёмов, а признаков спада нет. Самый явный подъём – время революции, но годы 17–20-й говорят о духовной смуте и раздвоенности. Ключевское сравнение революции с самооскоплением народа (во имя чистоты!) надо признать устрашающе глубоким. Если Есенин поражает нас сочетанием исключительной талантливости и падением, то Клюев – погружением в тёмную мистику и порывом к очищению...

Насаждаемое школой представление о Ключеве как о традиционалисте односторонне, ведь лидер крестьянских поэтов был модернистом. Для литераторов Серебряного века хлыстовщина стала одним из знаков религиозного модернизма, подпитывала одинокую игровую одержимость. Иван Ильин особо оттенял одержимость Ремизова тёмной изнанкой души, не менее очевидна она в лирике Цветаевой, не говоря уж о Фёдоре Сологубе. В одинокой модернистской одержимости М. Бахтин разглядел вырождение песни, потому что «лирическая одержимость в основе своей – хоровая одержимость...» Нельзя исступлённо петь без хоровой поддержки, в атмосфере звукового одиночества. Эту хоровую поддержку, опору на народное мы, Клюев ищет в послереволюционное время, начиная с поэмы «Деревня». Тут высказано две гипотезы: 1) творческий путь Ключева отразил разложение народного христианства, 2) был зигзагом русского пути: от простоты – к ухищренной сложности и вновь к религиозному традиционализму. Преображение – лейтмотив зрелой поэзии Ключева. Это знак возвращения к тому, что называют у нас старобрядчеством. Важнее всего понять, чем завершился путь человека, тем более народного поэта.

Вытолкнутый в Томске из вагона, обобранный урками, ссыльный был автором самой крупной русской поэмы XX века. Но её никто ещё не читал, и он горевал о ней как о самой большой потере. Почти шестьдесят лет ждала она читателя в подвалах НКВД – КГБ. «Песнь о великой матери» завершает стихотворный эпос России, может быть, это последняя великая русская поэма. Тут нужна долгая дискуссия, но есть ли кому спорить? Боюсь, завет так и останется не востребуемым.

С первых же строк главная поэма Ключева задаёт тему мистической русской судьбы: «Но допрядены, знать, сроки, Все пророчества сбылись, И у русского народа Меж бровей не прыщут рыси». Герой, Николенька, находит клад – горшок с новгородскими рублями. «При них, как жар, эпистолия гласит – **«ЧЕМ КОНЧИТСЯ РОССИЯ...»**. Гадать о путях завершения поэмы можно долго, но есть модель *первосюжета*: после отлучения и испытания следует преобразование и возвращение. «Икон горящая скирда», вести горькие, «что больше нет родной земли», – тема последних поэм слишком серьёзна для произвольной стилизации, здесь неизбежно было появление трагизма. Лирический герой позднего Ключева – блудный сын на пути возврата.

Три тысячи сосен-свеч, став светлой жертвой, превращаются в церковь *Покров у лебязьих дорог*; лебедью уходит в мир света душа матери, и обещано возрождение светлой Руси. Но церковь-лебедь обречена «увидеть Руси осиянной конец». После картины «дувана адского» – шествие русских святых. Лирический герой «Песни» – как бы последний

православный на опустыненной родной земле. Родное превратилось в чуждое и мерзкое: «Ах, ты клад заклятый, огнепальный, Стал ты шлюхой пьяной да охальной, Ворон, пёс ли – всяк тебя облает: “В октябре родилось чучело, не в мае”...». Лики родины многообразны, есть и видение казни: «Ярославне выкололи очи». Перерождение страшное: гоголевская Русь-тройка превращается в возок, влекомый бесами («Стада ночных нетопырей запряжены в кибитку нашу»). Но поэту-тайновидцу дано знать о конечном плане Божьем: в свои права вступит очищенная Русь, китежско-беловодская. И в ознаменование победы над злом будет дан знак – народный Егорий Храбрый на месте европейского шедевра Фальконе:

Но дивен Спас: змею копытя,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц.

Так, единственный раз в литературной истории России, китежский проект соединился со скифским. Так мыслится завершение истории – замещение падшей Расеи китежской, очищенной, Русью.

Россия предстала уже не заставочным «берестяным раем», а пространством, в котором создается церковь-лебедь, обречённая «дувану адскому». Запев обрывается трагическим мотивом, в котором можно видеть предсказание собственной судьбы: «Ах, заколот вещей лебедь На обед вороньей стае, И хвостом ослиным в небе Дьявол звезды выметает». Адские силы опустошили родину, и герой-поэт оказался «на Богом проклятой земле».

Этот образ перекликается с другим: «Безбожие свиной хребёт О звезды утренние чешет, И в зыбуны косматый леший Народ развенчанный ведёт...» Щедринская свинья, грозившаяся съесть Правду, посягнула на вселенский лад! Поэма не завершена. Но ясно видно, что она подчинялась трёхчастной композиции: идиллический зачин («А жили по звездам...»), кошмарные видения срединной части («В аду или в когтях у змея?») и просветляющий катарсис: «Пред вечным светом Русь порука».

В «Песни» автор ещё раз настаивает на своей старообрядческой родословной: «В самосожженческом уезде Глядятся звёзды в Светлояр – От них мой сон и певчий дар». Но при этом и скопчество не отвергнуто. В свитках матери, созывающих всех «отцов и братьев» на последний собор, есть приглашение и христоверов, и скопцов: «Да от рязанских кораблей Чету пречистых голубей, Ещё Секиру от скопцов...». Тема «Клюев и старообрядчество» донельзя запутана клюевоведами. Подлинная религиозность исключает модернистскую «ряженность». Староверы чураются имён Есенина и Клюева: один – самоубийца, другой – содомит. Старообрядцем, как и хлыстовцем, Клюев не был.

В поэме есть стилевые кальки и прямые указания на Откровение Иоанна Богослова:

Тут ниспала полынная звезда,
 Стали воды и воздуха желчью,
 Осмердли жизнь человечью.
 А и будет Русь безулыбной
 Стороной не птичной и не рыбной...

Со второй части в центр поэмы выдвигается исповедальное Я. Наивно отождествлять его с реальным автором. Его рождение предсказано, в видении матери, самой Богородицей. Предназначение его – «в последний раз отведать мёд От сладких пасек Византии». И все-таки в своём литературном завещании Клюев вновь создал апокриф в стиле исповеди, только пафос его решительно отличается от «Гагарей судьбины». Через него вопрошают друг друга прошлое и будущее, он верит в преобразование страны. Герой-автор, последний православный на опустыненной родной земле, узнаёт, что «сады Александрии цвели предчувствием России».

Лирический герой – пророк. Сама Богородица будто бы предсказала его рождение. Его, «песнописца Николая». Мыслимо ли это для православного христианина? Твёрдо верующий человек не может приписать Богоматери слов, восхваляющих его, этот имидж-миф – на грани святотатства. Но это – последний вздох символизма: поэт избран для духовного виденья, его мистериальное рождение предсказано в мистическом видении: «Он будет нищ и светел – Во мраке вещей петел – Трубить в дозорный рог, но бесы гнусной грудой Славянской песни чудо Низвергнут у дорог...». Путь героя – обретение «великого зрения», тайного знания, и в «Песни» нет темы творчества как искусности, мастерства. А между тем по ритмическому богатству она соперничает с шедеврами виртуозов ритмики.

У Клюева была ярко выраженная душевная зависимость от матери. К.Г. Юнг показал, что даёт переразвитый комплекс матери в том творческом типе, к которому принадлежит Клюев: «Так, у человека с комплексом матери может быть тонко развитый Эрос вместо гомосексуальности или в дополнение к ней. <...> Он может быть очень одарённым как учитель из-за его почти женской пронизательности и такта. У него может обнаружиться склонность к истории и консерватизм в лучшем смысле, т. е. бережное отношение к ценностям прошлого. Часто он наделён сильным религиозным чувством». Мать в поэме и реальный человек, Параша, и Мать-земля, и родина, и собеседница Богоматери. После её смерти остались пророческие свитки, предсказания о конце исторической России.

В русской литературе XX века два великих апокалиптических произведения – «Чевенгур» Платонова и «Песнь о великой матери» Клюева. Это сопоставимые вершины, хотя читатели не скоро поверят в такую оценку. Чего только не наговорили о русском юродстве, а вот сравнивать, сопоставлять юродивых не решались. Алексей Ремизов – как бы классика литературного юродства. То есть игрового, не всамделишного. Вот два примера юродства, и клюевское, в сравнении с ремизовским, выглядит

чуть менее литературно-стилизированным. А в Андрее Платонове мы имеем дело с другим типом русского юродства – праведническим. Ключевское юродство менее трагедийно в сравнении с платоновским, лишённым всякой «ряжености». Роман-трагедия «Чевенгур» сосредоточен на отклонениях русской души, взбаламученной утопиями. Платонов понял революцию как вызов природе, Ключев же – как вызов Богу. У Ключева русская катастрофа увиденна глазами ликвидируемых. Финал романа Платонова – возврат к природе (с гражданской войны живой вернулась только кобыла Пролетарская сила), революция выглядит вывихом, но не мистерией. В отличие от сочинений символистов, произведения Ключева и Платонова, варьирующие апокалиптические мотивы, итожат катастрофические события, а не предсказывают их. В поэме Ключева – от земного к небесному, от святости рода к высшим святыням – картины «конца света» уравновешены лейтмотивом преображения. У Платонова в свои права вступает природа – лопухи, полевые цветы, озеро.

Тут невольно вспоминаются слова Бахтина: «Великие произведения литературы готовятся веками, в эпоху же их создания снимаются только зрелые плоды длительного и сложного процесса созревания». Это надо учесть, если хочешь понять ключевский образно-мифологический словарь. Вот удивительный пример: по первой книге Николай Гумилёв увидел в Ключеве «возможность большого эпоса». Что называется, по альфе угадал омегу. В модернизме героический эпос разлагался, Ключев пытался возродить его. Восстановить эпико-героическое сознание – не утопия ли? Можно ли вернуться в пройденную историческую фазу – восстановить цельность исторического сознания? Не оттого ли поэмы Ключева кажутся заключительной страницей средневекового жанра видений? Поэт как бы отступил в русское Средневековье.

Мир Ключева – мистический и алогичный. Утонченное варварство и неприязнь к городу делают его, зараженного городскими пороками, человеком чужой эпохи, случайно заброшенным в XX век. Ключев – человек третьей фазы национальной культуры, эпохи надлома. Но он же – один из вдохновителей неопочвенников. Поздний Ключев переболел соблазнами языческого возрождения и обратился к раннехристианской апокалиптике, согласно которой этот падший мир пройдёт очищение и преображение.

После национальной катастрофы открываются либо пути спасения, либо абсурдность мира. В главной поэме Ключева это реализовано как пророческое видение. Отпадение народа от Бога – знак близости конца истории. Царство Божье немыслимо без очищения мира и человека, отсюда лейтмотивы – преображение, перемещение в инобытие. Но, кажется, и в последнем стихотворении Ключев остался выразителем русского двоеверия: в Царство Божье он захотел взять пашенную Россию – «страну грачиных озимей». Александр Блок и Андрей Белый в своих поэмах о революции дерзнули изобразить Второе пришествие. Получилась картина апокалиптического абсурда. В поэме Ключева земная история Руси закончена – обрывом, катастрофой, но остаётся надежда на Русь потаённую. Закончил ли поэт жизнь свою как христианин, осознавший грех беспутства, не поздно ли блудный сын возвратился к родному пепелищу?

Наверно, позднему Ключеву стали понятны слова В. Розанова: «Мы все шалили... Мы в сущности играли в литературе». Но если для полуязычника Розанова «с лязгом, скрипом и визгом опускается над русской историей железный занавес» – безвозвратно и беспросветно, то для Ключева мыслимо преображение родины после временного торжества дьявольщины. «Очищение сердца» означает: страдание предшествует преображению.

Но иногда кажется: поэт и сам не знал, где лицо и где маска. Владимир Соловьев на вопрос, кем бы он хотел быть, ответил: «Собою, вывороченным налицо». Выходит, жил он наизнанку? Если верить К. Азодовскому, случай Ключева – полный разрыв реальной биографии и творчества. Вывод непродуктивный: если жизнь неподлинная, то и творчество не может быть глубоким. Тогда уж не скажешь: «Ключев – сама Россия». Большой террор выявил изнанку Серебряного века: игрой, «ряженостью» глушили предчувствие национальной катастрофы. Шаманили, чтоб отогнать землетрясение.

Вывод продуктивный таков: автобиографический миф Ключева, при всех *декадентских* вкраплениях, расширяет многоцветие, самобытность России. В эпоху геноцида поэт предъявил запасники русской песенной памяти – и был уничтожен. Без этой трагедийной развязки его религиозные искания выглядели бы как плутовство, объект пародирования. Основная тема позднего Ключева – поэт в мире, отпавшем от Бога. Герой в его ранней лирике – добровольный скиталец, искатель «поддонной» Руси, а в поздней – изгой в отечестве, он ищет остатки родины: «К нам вести горькие пришли, Что больше нет родной земли». Что было предметом игровой стилизации, стало самообороной, противостоянием геноциду. Но даже в последние годы его жизни борются две тенденции: модернистская стилизация и христианская апокалиптика. В последнем стихотворении («Есть две страны...») ангел вторит песне поэта и доносит благословение Христа, а страна, отвергшая поэта, как «полуночного пса», отдалилась, отошла, подобно наваждению.

Лев Пичурин

«ИДЕМ НЕВЕДОМЫЕ МЫ...»

Об одном стихотворении Николая Клюева

Вопрос об уровне образования Н.А. Клюева вызывает немало споров и сомнений. В «Деле № 12301» (протокол допроса от 9.10.37), разумеется, без ссылки на какой-либо документ, записано: «образование среднее». Из многочисленных свидетельств (но не документов!) следует, что он учился в церковно-приходской школе, причем не совсем ясно, в какой именно – по правилам 1884 года существовали школы одноклассные (двухлетние) и двухклассные (четырёхлетние). Затем окончил двухклассное городское училище в Вытегре. Разумеется, это образование никак нельзя называть «средним», хотя, в общем-то, городские училища давали в конце XIX века вполне приличные знания (заметим, что «двухклассное» вовсе не означает «двухлетнее» – курс первого класса продолжался четыре года, курс второго – ещё два). Сам Клюев, безупречно грамотный человек, заполняя в 1925 году анкету Всероссийского Союза поэтов, в графе «Образование» написал с явно умышленной грамматической ошибкой: «Нисшее, языков не знаю». Фактически же, судя по воспоминаниям людей, близко знавших его, и по ряду документальных свидетельств, поэт был абсолютно грамотен, владел некоторыми европейскими языками, блестяще знал мировую культуру, понимал и чувствовал музыку. Откуда? Видимо, нам придется остаться на уровне не очень удовлетворительного ответа – гениальный самоучка. Но этому утверждению соответствует масса доказательств, как правило, косвенных, впрочем, на то он и Клюев.

С этой точки зрения интересен известный ответ Н. Клюева на стихотворение К. Бальмонта «Оттуда».

Бальмонт, следуя многочисленным художникам кисти и мастерам пера, обращавшимся к классическим мыслям или сюжетам Библии и (в меньшей степени) Корана, цитирует один из стихов Корана, почти дословно переводя его на современный поэтический язык. По-видимому, никаких других задач, кроме чисто переводческих, поэт перед собою не ставил. В Коране (сура 2, стих 23) сказано:

«Верующих и добродетельных обрадуй благой вестью, что для них будут сады, по которым текут реки: каждый раз, как вкусят они от них – от плодов их, – в удовольствие своё будут говорить: “это таково же, чем питались мы прежде”, но оно представляет только сходство с тем. Там для них чистые супруги: там они пребудут вечно» (перевод Г.С. Саблукова, Казань, 1907).

Напомним теперь связанные с ним произведения двух русских поэтов.

Константин Бальмонт

Николай Клюев

ОТТУДА

Я обещаю вам сады...

Коран

Я обещаю вам сады...

К. Бальмонт

Я обещаю вам сады,
Где поселитесь вы навеки,
Где снежность утренней звезды,
Где спят нешепчутые реки.

Я призываю вас в страну,
Где нет печали, ни заката,
Я посвящу вас в тишину,
Откуда к бурям нет возврата.

Я покажу вам то, одно,
Что никогда вам не изменит,
Как камень, канувший на дно,
Верховных волн собой не вспенит.

Идите все на зов звезды,
Глядите, я горю пред вами.
Я обещаю вам сады
С неомраченными цветами.

Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далеком,
Где снедь – волшебные плоды,
Живым питающие соком.

Вещали вы: «Далеких зла,
Мы вас от горестей укроем,
И пораженные тела
В ручьях целительных омоем».

На зов пришли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица – вампиры, по наречью –
В глухом ущелье водопад.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли, –
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.

За пришлецами напоследок
Идем неведомые Мы, –
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.

Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы – валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

Сравнивая эти стихотворения, трудно не заметить следующее.

Во-первых, дословно повторяющийся эпиграф. И Бальмонт, и Ключев предпосылают своим стихотворениям эпиграф из Корана «Я обещаю вам сады...». Но у Бальмонта эпиграф по сути своей есть простое напоминание: тема произведения взята из Корана, вот так я понимаю и пересказываю мысль пророка. А Ключев вовсе не пересказывает слова пророка Мухаммеда или поэта Бальмонта. Он решительно возражает против самих несбыточных обещаний райской жизни, содержащихся в Коране (и не только!) и у Бальмонта (и не у него одного!), он спрашивает у авторов: как же вы посмели пообещать несбыточное, как же вы не поняли, что ваши обещания всеобщего счастья и благополучия обернутся столь же всеобщим горем? Сделано с истинно ключевским блеском и маскировкой – напрямую спорить с Кораном неловко, да и опасно, а с поэтом – пожалуйста. Но обещания исходят все-таки от пророка, и совпадение эпиграфов позволяет спросить: а с кем же полемизирует Николай Алексеевич?

Ключев возражает вовсе не мыслям мечтателя Бальмонта, а самой сути утверждения Корана. Это не абстрактный спор двух поэтов о некоем религиозном суждении, а своеобразный революционный и вполне категорический призыв к «неведомым» ключевским современникам, к освежительной зиме, лесным ключам и звону сосен, к природе, к людям.

Заметим, Бальмонт написал «Оттуда» в 1899 году, а Ключев ответил ему лишь в 1911-м, т. е. между публикациями этих произведений прошло более десяти лет. И каких лет! За эти годы относительно спокойный конец XIX века сменился поражением России в войне с Японией, революцией, реформами П.А. Столыпина. При таком разрыве во времени стихотворение Ключева лишь с большой натяжкой можно называть «полемиическим ответом» народного поэта поэту-декаденту.

Конечно, допустимо предположение, что Ключев впервые прочитал бальмонтовское «Оттуда» лишь в 1910 году и поэтому запоздал со своим великолепным ответом. Косвенным подтверждением этому служит письмо А. Блоку, посланное Ключевым из Вытегры 22 января 1910 года. В нем он просит прислать ему книги «стихов Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Гиппиус, какие Вам нетрудно». А в конце 1913-го – начале 1914-го Ключев пишет Л. Израилевичу: «Спасибо и за обещанные книжки. У меня не только нет Верхарна, но никогда я и не слышал про такого. Нет и Львовой, да и Бальмонта, напр., я читал стихов пять-шесть». Конечно, повторим, Ключев есть Ключев, он мог, как ныне говорят, «прибедняться». Впрочем, примерно через год он пишет В. Миролюбову: «Нет ли в редакции книги «Звенья» Бальмонта, я до сих пор не читал его толком».

Но куда надежнее предположение, что Ключев воспользовался стихотворением Бальмонта только как поводом для того, чтобы высказать свое несогласие с некоторыми утверждениями ислама, с его принципом покорности «верующих и добродетельных» в их надежде на «светлое будущее» в садах Аллаха. И дело не в одном исламе. Ключев возражает против всякого рода несбыточных обещаний, ибо видит, к чему они приводят в конечном итоге.

У этого предположения, естественно, немало спорного, в том числе

спорен и вопрос о том, насколько Николай Алексеевич мог знать Коран, читал ли он его хотя бы в переводе или слышал изложение принципов ислама от деятелей мусульманской церкви. Но, зная характер и объем знаний Н.Клюева в различных областях, зная его умение скрывать детали своей биографии, можно предположить, что поэт был знаком и с азами арабского языка, и читал именно Коран, а не только Бальмонта. В жизнеописании Клюева возможны самые фантастические предположения!

* * *

Размышляя об этом стихотворении, нельзя не подчеркнуть также и его поразительную современность. Независимо от Бальмонта, Корана, идейного смысла и т. д. невозможно не обратить внимание на, так сказать, «экологическую направленность». Ручьи потекли отравой... Узорный сад облетел... Вся тональность третьей и четвертой строф взывает к нам, ибо дело уже не только в несбыточных обещаниях пророков, поэтов и революционеров. Люди, взгляните вокруг себя, что вы наделали с природой нашего Отечества? Не пора ли обратиться к смолисту и едкому аромату, к освежительной зиме, к лесным ключам и звону сосен? Не поможет ли нам в сохранении природы её певец Николай Клюев?

«РОССИЯ – ЭТО ТЫ!»

Nikolaj Kljuev. «O Russland – das bist du!» Ausgewählte Gedichte. Russisch und Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Hartmut Löffel. Mit drei Gedichten von Valerij Domanskij. Schweinfurt: Wiesenburg Verlag, 2009.

В мае этого года в г. Швайнфурте (Германия) в издательстве «Визенбург» вышла книга переводов Хартмута Лёффеля «Николай Клюев. “Россия – это ты!”». Это – явление знаменательное. Впервые на немецкий язык метрическим стихом с максимальным приближением к фонетической и лексико-стилевой структуре оригинала переведены стихи выдающегося новокрестьянского поэта Николая Алексеевича Клюева. Двухязычное издание содержит переводы 28 стихотворений русского поэта, ранее неизвестных немецкому читателю (всего на немецкий язык в период с 1960 по 2003 г. было переведено лишь 10 клюевских текстов).

Подборка стихов в этой книге содержит подлинные шедевры клюевской лирики, широко известные ценителям его поэзии: «Безответным рабом/ Я в могилу сойду...», «Я надена черную рубаху...», «В златотканые дни сентября...», «Весна отсияла... Как сладостно больно...», «Я люблю цыганские кочевья...», «Бродит темень по избе...», «Рождество избы...», «Плач о Есенине», а также поэтический памятник Клюева, созданный в Томске в 1937 году, – стихотворение «Есть две страны: одна – Больница...».

Хартмут Лёффель уже знаком сибирскому читателю. В прошлом году он был гостем номера («Начало века», 2008, № 2). Именно в нашем журнале впервые опубликован немецкий перевод клюевского Памятника. А теперь он возвратился к нам в юбилейный для Клюева год в составе целой книги переводов на язык Гете и Гейне стихов «олонецкого бахаря».

Первые отклики на эту книгу, разосланную издательством на факультеты славистики немецких университетов, говорят о несомненном успехе этой книги. И секрет этого успеха заключается в высоком профессионализме, последовательности и масштабности творческого мышления переводчика, его музыкальном слухе – не случайно Хартмут Лёффель известен также и как талантливый скрипач и музыкант. Данный перевод стихотворений Клюева – не первый опыт немецкого поэта в освоении русской народно-крестьянской поэзии XX века. К интерпретации Клюева автор пришел не случайно, сначала он обратился к переводам из поэтического наследия Николая Рубцова¹ и Сергея Есенина.

Осуществление сложного межкультурного проекта стало возможным благодаря интенсивному сотрудничеству Х. Лёффеля с профессором Томского государственного университета Валерием Доманским, известным клюевоведом, одним из издателей клюевской поэмы «Кремль»², а

¹ Как переводчик и соиздатель, Г. Лёффель вместе с немецким поэтом и музыковедом Раймондом Дитрихом в 2004 г. выпустили книгу «Komm, Erde» («Земля зовет»), в которой впервые стихотворения русского лирика Николая Рубцова были переведены немецким метрическим стихом.

² Совсем недавно в издательстве ТГУ вышла коллективная монография, представляющая собой первое серьезное осмысление этой поэмы российскими и зарубежными клюевоведами. См.: Нарымская поэма Н. Клюева «Кремль»: интерпретации и контекст./Ред.-составитель В.А. Доманский. – Томск: ТГУ, 2008.

также автора поэмы о Клюеве «Нарым» и очерка «Томский текст Н. Клюева» (Томск: ТГУ, 2003). В книгу Х. Лёффеля включены три отрывка из этой поэмы с комментариями ее автора: «Письмо из бани» («Brief aus dem Dampfbad»), «Изба» («Russische Bauernhaus»), «Плаха» («Richtplatz»). Поэтические тексты и послесловие В.А. Доманского гармонично включаются в данную книгу. Этот интересный авторский ход позволяет создать живое, целостное представление о неразрывно связанном с изгнанием и Сибирью «поведенческом тексте» Клюева и объективно обрисовать место поэта-пророка, хранителя древних традиций в русском литературном процессе.

Как известно, в истории немецкой переводной литературы существует устойчивая традиция перевода русской поэзии белым нерифмованным стихом³. Решение Лёффеля в пользу стихотворного перевода метрическим стихом с точной рифмой отвечает глубинной характеристике поэтического мира Н. Клюева. С другой стороны, в передаче сложных в лексико-семантическом плане русских народно-крестьянских образов, составленных из архаизмов, диалектизмов и фольклоризмов, переводчик идет вслед за оригиналом и выбирает стратегию смыслового перевода. Лёффелю удастся передать зрительную наглядность образа не в ущерб его слуховой реализации.

Наталья Никонова,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры романо-германской филологии ТГУ

³ См., например, антологию русской поэзии: Russische Lyrik. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Russisch/Deutsch. Herausgegeben von Kay Borowsky und Ludolf Müller. Philipp Reclam Jun. Stuttgart, 1984.

СИБИРСКИЕ ПИСЬМА НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

ПИСЬМА Н.А. КЛЮЕВА ИЗ КОЛПАШЕВА

Ключев – Анатолию Яр-Кравченко

5 июня 1934 г. Колпашево

Незабвенное дитяtko, здравствуй!

После четырех месяцев хождения по мукам я, как после кораблекрушения, выкинут на глинистый, усыпанный черными от времени и непогодицы избами – так называемый г. Колпашев. Это чудом сохранившееся в океанских просторах сухое место посреди тысячеверстных болот и залитой водой тайги – здесь мне жить пять унылых голодных лет и, наверное, умереть и похорониться, даже без гроба, в ржавый мерзлый торфяник. Кругом нет лица человеческого, одно зрелище – это груды страшных, движущихся лохмотьев этапов. Свежий человек, глядя на них, не поверил бы, что это люди. Никакого пейзажа – угрюмая серо-пепельная равнина, над которой всю ночь висит толстый неподвижный туман, не поддающийся даже постоянному тундровому ветру. От 10 часов до четырех светит солнце и даже жарко, но люди, выходя по делам, и в эти часы несут на руках ватное платье – не надеясь на устойчивость погоды. Говорят, что в этом году лето будет хорошее, ну приблизительно как август на Вятке. В сентябре уже ледовитый снег, и так до половины мая. Гибель моя неизбежна. Я без одежды и без денег. Как политссылный я должен получать паек 15 кило муки, 2 кило крупы, 800 гр<аммов> сахар<ного> песку и 15 гр<аммов> чаю – вот и все на целый месяц. Но и этот жалкий паек я не могу выкупить. Все четыре месяца я питался лишь хлебом и водой, не всегда горячей. Теперь привыкаю есть, но после каждого куска поднимаются страшные боли в животе – я иссох так, что прежние кальсоны обшивкой обвивают два раза тело.

В кособокой лачуге, где ссыльный китаец стрижет и бреет, я увидел себя в зеркало и не мог не разрыдаться от этого зрелища: в мутном олове зеркала как бы плавала посыпанная пеплом голова и борода – и желтый череп и узлы восковых костистых рук... Я перенес воспаление легких безо всякой врачебной помощи – от этого грудь хрипит бронхитом и не дает спать по ночам. Сплю я на голых досках под тяжелым от тюремной грязи одеялом, которое чудом сохранилось от воров и шалманов, – все остальное украли еще в первые дни этапов. Мне отвели комнату в только что срубленном баракообразном доме, и за это слезное спасибо, в большинстве же ссыльные живут в землянках, вырытых своими руками, никаких квартир за деньги в Колпашеве не существует, как почти нет и коренных жителей. 90% населения ссыльных – китайцы, сараты, грузины, цыгане, киргизы, россияне же очень мало – выбора на людей нет. Все потрясаяще несчастны и необщительны, совершенно одичав от нищеты и лютой судьбы. Убийства и самоубийства здесь никого не трогают.

Я сам, еще недавно укрепляющий людей в их горе, уже четыре

раза ходил к водовороту на реке Оби, но глубина небесная и потоки слез удерживают меня от горького решения. Я намерен проситься в ссылку в Вятскую губ<ернию>, ведь там еще не изгладились следы дорогих для меня ног, или, крайне, в г<ород> Томск, где есть хорошие врачи, но для этого нужно тебе немедля сходить в бюро врачебной экспертизы, куда ты водил меня и где мне выдали свидетельство о том, что я – инвалид второй группы, страдаю артериосклерозом, кардиосклерозом, склерозом мозговых сосудов и истерией. Свидетельство у меня было, но осталось на Гранатном в немецкой Библии и, вероятно, как и все, что там было, пропало. Необходимо восстановить этот документ немедля и выслать мне ценным письмом, тогда я буду иметь повод хлопотать о переводе. Мне здешнее начальство говорило, что это возможно при наличии документа от бюро врачебной экспертизы об инвалидности и болезни. В прежнем моем документе в строке о переосвидетельствовании значилось: «Нет» – следовательно, документ пожизненный и очень резонный. Добудь его, дитя мое драгоценное.

Поговори с Валентином Михайловичем, спроси его совета, а также и его удостоверения, что я болел суставным ревматизмом – это тоже очень нужно и важно. Сходи к профессору Нарбуту – попроси его выдать мне удостоверение о глубоком неврозе сердца и общего тяжелого нервного состояния с приложением печати и т.п. Кланяйся его семье и попроси Софью Викторовну ссудить мне посылочку: чаю, компоту, круп и непременно жиров, лучше шпикую свиного, какую-либо теплую рубашу, кальсоны, если можно, то брюки, хотя бы старые, носки, гребенку и какую-либо кастрюльку-котелок для варки пищи, эмалированный или какой другой, но полегче. Посылка может быть весом до 15 кило – это новые почт<овые> правила. Здесь растительной пищи нет. Поэтому мне нужен компот и лук в головках, чтобы не заболеть цингой. В тюрьме мне ошибочно рассказывали, что в Колпашеве растут огурцы – в нем не сеют и не жнут. И съестное редкость, и цены на все чудовищные. Бутылка молока 2 р<убля> 50 к<опеек>. Небольшой хлебец фунта два – 6–7 руб<лей>. Масло 30 руб<лей> кило, но пахнет медведем, рыба – караси 3 руб<ля> штука. Мука 75 руб<лей> пуд и т.д. Но все это и за деньги надо купить умеючи. Потому что все редко и скудно.

Чем же ты утетишь меня, друг мой?! Можно ли мне питаться надеждой на регулярную месячную помощь, хотя бы на хлеб и на воду? Напиши мне об этом! Раздобудешь ли ты для меня что-либо теплое на зиму? Валенки, штаны ватные, варежки, портянки помазейные <так!>, шапку с ушами размер 15 S вершков в окружности, шарф, рубашу вязаную. (Теплое пальто мне обещали прислать из Москвы.) Но предупреждаю, не обижай себя! Мне тяжело знать, что я для тебя обуза. Подумай об этом и обо всем остальном – поговори с моими друзьями и т.п. Сообщи мне, следует ли мне выслать тебе доверенность на мою квартиру и на все, что в ней находится, или тебе это трудно и тогда можно хотя бы Клычкову, у него теперь квартира в Доме писателей и места много?

Как бы хотелось пролить к тебе сердце свое, высказать, что накопил, но бумага тоже, как и жизнь, конечна. Буду ждать от тебя письма – оно будет для меня великой радостью. Телеграмму я получил. Она мне очень

помогла и укрепила душевно. Прощай, дитяtko! Будь счастлив. Пусть мое страшное несчастье научит тебя, как нужно быть четким и бережливым к своей судьбе в жизни! Кланяюсь моим друзьям! Кланяюсь тебе – единственному и незабвенному в жизни и смерти моей! Прощай! Прости! Колпашев, до востребования.

* * *

4 июля 1934 г., Колпашев

Незабвенное мое дитяtko!

Кланяюсь я тебе низко, приветствую, благословляю и целую душевно! Я писал тебе несколько писем, но ответа на них не получал, исключая двух телеграмм – одну в Томск, другую в Колпашев, по которым сузу, что что-то до тебя дошло. Со словами благодарю твое сердце за заботу. Сознание, что кто-то меня пожалел, дает мне силы тянуть унылые дни, а они воистину так тошны и унылы, что нужно быть остяком, чтобы найти в них смысл и содержание! К тому же я болен, давнишняя болезнь сердца теперь остро дает себя знать – я без сил, хожу и шатаюсь, к тому же в дверь мою постучалась мертвой костью неизбежная в здешнем краю тетушка малярия. Два дня и две ночи меня трясло, то в поту, то во льду. Лекарств, конечно, никаких.

Сейчас 12 ч. дня, за окном тяжелое, низкое, совершенно зимнее небо, тускло, свинцово-зеленым блеском, мреет жалкий картофельный огород, за ним две огромных, покосившихся избы без изгороди, без единого кустика вокруг, собака, похожая головой на щуку, сидит прямо в грязи и как околевшая неподвижно смотрит в бухлое серое небо. Я никогда не мыслил, что есть в мире такие окаянные места! Из обломка стакана, который заменяет мне чернильницу, я пишу тебе. Не можешь ли ты твоей свежей головкой уловить, что со мной? Кончилась ли моя жизнь или начинается иная, полная привидений и болотных призраков, которые беззвучны и лишь обдают меня сырым холодом? Я сейчас дрожу, нужно бы затопить печку, но дров нет, потому что они <стоят> десять руб. воз. Послали меня в общежитие исполкома – это только что срубленный длинный дом, с модными огромными окнами, стекла которых с одного [...] с треском вылетают из рам, уступая первому налетающему ветру. Помещение – летнее. В щели пола виден свет и трава и т.д. Как я буду коротать в нем 60-градусную зиму? Есть каморка в полземлянке, оконце выходит на Обь, за ним растет куст лебеды, каморка шагов пять длины и три ширины с печуркой – плата 15 руб. в месяц без дров. Что делать? Напиши об этом. Ссылные своими руками нарыли здесь целые улицы землянок и живут в них. С непривычки в землянке, как в могиле, очень обидно. Стены такой ямы выложены досками, мелким лесом, вымазаны глиной, и поверх выбелены мелом, крыша покрыта дерном и завалена всяким хламом, горшок, обломок железа, заменяет трубу. На зиму я совершенно голый – есть надежда достать сермяга, но нужно 1½ кило ваты, черных ниток и метров шесть черной подложки, хотя бы самой дешевой, и марли, чтобы настегать вату. Подумай об этом, согрева моя теплая, нельзя ли, хотя через добрых людей, достать все это, зашить в

тряпку и послать ценной посылкой! То-то была бы радость мне голому! Когда я ехал или скорей когда нас везли из Томска в Колпашев, кто-то, видимо, узнавший меня, послал мне через конвоира ватную коротенькую курточку – вот и вся моя одежда, что делать? Как быть? Все, что было на мне, – все пропало. Как, не буду описывать. Нельзя ли устроить мне хотя бы коллективную посылку – ведь можно 15 кило круп, сахару, чаю, белых сухарей. Здесь нет ничего, одна жалкая столовка, где я проедаю 1 р. 10 коп. за хлебово и 49 коп. 700 гр. черного хлеба – это один раз в день. Кружку кипятку разными извинениями выпрашиваю у соседней по бараку.

Просыпаюсь с кислым ощущением голода под ложечкой. Столовка открывается в три часа дня. Сплю я на чужой койке, которую грозят взять от меня хозяева – нужно приобретать какую-либо кроватишку, какой-либо стол, лавку. Одним словом, бед моих не перечислить. Написал в Москву в Красный Крест о помощи заключенным и ссыльным – жене Горького Екатерине Пешковой, просил о содействии дать мне минуса шесть или даже двенадцать без прикрепления к одному месту. Просил затребовать из Бюро медицинской экспертизы удостоверение о моей инвалидности второй группы. Удостоверение осталось у меня в Москве в немецкой большой Библии. Если бы оно было со мной, я бы был уже давно в Вятской губ. Так как инвалидность второй группы дает прямое право освобождения или минуса – шесть. Припомни, дитяtko, когда мы ходили с тобой в Бюро медэкспертизы, поговори с Белогородским или с Нарбутом – нет ли у них возможности получить вновь на меня удостоверение. В крайнем случае сходи сам – ведь наверно ведутся какие-либо записи выданных документов. Если получишь удостоверение, то оригинала не посылай (неприменно ценным письмом), а засвидетельствованную нотариально копию. Ах, если бы у меня был на руках этот документ! Все бы пошло по-другому. Если Зинаида Павловна доберется до моих вещей, то в первую очередь пусть переберет тщательно листы немецкой Библии – она самая большая из моих старинных книг, удостоверение заложено приблизительно около первой половины числа листов Библии. Если она найдет, то выслать мне засвидетельствованную нотариальную копию, а оригинал беречь накрепко.

Местная комиссия по больным чисто арестантская – всех подозревает в симуляции, и только такой документ, как мой, заставит здешних врачей отнестись ко мне внимательней. Есть такой закон, по которому инвалид второй группы освобождается совсем или переводится на минус – шесть или двенадцать. При одной мысли об этом я становлюсь счастливым.

Где ты проводишь лето? Доволен ли? Как твое искусство? Как жизнеощущение? Софья Андреевна говорила мне зимой, что можно купить у тебя мой портрет. Как твой взгляд? В таких бедствиях, как мое, отцы продают своих дочерей и кровных в рабство. Подумай об этом. Я всю жизнь не понимал себя и того, что руки мои не приучены гнутья лишь к себе. Я не пил, не ел один, всегда кого-либо угощал – попросту кормил, потому, вероятно, сейчас жду и от людей чего-то и как-то странно, что для людей это очень тяжело и сложно, когда для меня, все связанное с помощью другого, было простым и даже приятным.

Прости меня, ангел мой, что я возлагаю на тебя всякие заботы. Но когда пробил час железной проверки моей жизни, то во всем мире один ты для меня и существуешь. Вот почему я не молчу перед тобой о своих бедствиях и ранах, твоя молодая душа оказывается крепче моей – я нуждаюсь в тебе, как и в утешителе. Твоя телеграмма «Будь совершенно спокоен» думаю небезосновательна, но как быть спокойным в моем положении? Ни одного волоса на моей голове и бороде не осталось не выбеленным несчастием. Ты теперь бы и не узнал своего поэта, а мои красивые, знаменитые и раздушенные знакомые пришли бы попросту в испуг. И не удовлетворились бы одной дезинфекцией после моего визита, а самую бы обивку стула или дивана – спорили бы и отдали в стирку или заменили бы ее новой. [Не хватает страниц 9–12 оригинала].

Вот уже четвертый лист пишу тебе, и не могу оторваться от бумаги. Но всего не перескажешь. В ужас прихожу от грозящей зимы. Из Москвы мне выслали две рубахи и пару кальсон, два полотенца, простыню, две наволочки, пять носовых платков, двое носок и наволоку тиковую, набить постель. Сухарей ржаных, немного чаю, конфет маленько, мыла и сала свиного. Кланяюсь земно этим людям – за их милосердие. Но, вероятно, все это только на свежие раны – со временем охладеют, и это приводит меня в леденящий ужас. Как я буду без милостыни?! Лучше умереть или погрузиться в тайгу, чтобы задрал медведь, чем остаться без любви и сожаленья!

Мне так необходима керосиновая кухня, их у меня в Москве две, одна с чугунной накладной, другая с высокой трубой – обыкновенная. Вот если бы эту обыкновенную, вылив керосин, уложить в крепкий ящичек и послать мне почтой, какое бы было для меня удобство! Вместе можно положить котелки, две вилки и два ножа – чер^{енки} из слоновой кости. Если тебе нравятся, то возьми себе их и кушай, а мне пошли похуже. Ковер расстели себе под ноги, они стоят ковра, только ковер боится чернил и лаков. Картины возврати Куме и Сергею Алексеевичу. Но все это не к спеху. Главное получить по доверенности и кое-что продать мне на пропитание. Конечно, все, что тебе нравится, – все твое и не отдельно. В одном из писем я просил тебя сходить к Софье Викторовне – попросить ее о помощи мне, что ей удобней, ведь профессор был к нам так добр! Поговори с ним – он выдаст удостоверение, что я болен истерией в тяжелой форме. Я у него лечился много лет.

Нужно бы поговорить с Коленькой: не может ли он прислать мне занавес в окно на зиму потеплее – размер 4 арш. на три, если больше, то лучше. Окно было бы закрыто и меньше дуло – ведь все равно девять месяцев придется сидеть круглые сутки с огнем, так что оконный свет не при чем. Прошу и молю о письме: где ты провел лето, как? И что написал? Если можно, пришли фотографии со своих работ! Кланяйся Васильевскому острову, всем, кто меня знает или спросит. Если Зин. Павлов, увидит мою пенсионную книжку, то пусть приберет ее, и спросит о моей пенсии – в кассе, что не доходя Зоологического сада, если идти с Кудринской площади вниз, на левой руке. Я думаю, что я могу получить за февраль по май. Это очень важно. Еще раз стираю к ногам твоим сердце мое, обливаюсь слезами и прошу не оставить милостыней!

Мужай, крепни, мое прекрасное дитяtko. Унесу в могилу твой образ, твой аромат. Одно жаль, что не угодно Провидению, чтобы ты закрыл мне глаза в час смертный. Часто я утешал себя этим. Умру в лучшем случае в тесном бревенчатом больничном бараке, в худшем – под Нарымской пургой, и собаки обглодают мои кости. И это не гипербола, а самое простое и никого здесь не волнующее явление. Прощай. Прости. Торопись с весточкой. Почта здесь ходит месяцами, а с осени до саней будет все прекращено. Кланяюсь твоей Маме, Папе, Борису – кто у него родился? И кто кум? Где Витон? За ним долг сто руб. Теперь бы мне в час его возвратить. Прощай, дитяtko! Долгим рыданием-воем покрываю это письмо. Прощай. Прости.

Н.К.

Доверенность посылаю вторично!

* * *

24 июля 1934 г., <Колпашев>

Ты просишь написать о моей жизни. Я, кажется, в каждом письме описываю ее. Относятся ко мне люди несчастные очень хорошо, зовут все Дедушкой и по-звериному жалеют. Начальство же здешнее весьма хорошее, начальник оперсектора, его заместитель совершенно культурные люди, и как-то досадно, что все они забиты в глушь Нарыма, хотя бы могли быть чрезвычайно полезными даже в Москве. Начальник Шестаков, так прямо сошел с тех обаятельных и волнующих старинных гравюр, которые нам оставила Французская революция. Вот бы с кого написать тебе портрет! Он похож на беркута, когда тот сидит на синей скале и зорко глядит в туман ущелий. Помощник его – красавец с бледным, кипящим силой и страшным психическим напряжением лицом, мне чрезвычайно нравится. Есть оригинальные монголы. Помесь тунгусов с великороссами, с очень привлекательными агатами глаз с косинкой, стальными волосами. Женщин здесь я не видел прекрасных – все какая-то мелочь белобрысая.

Колпашево стоит на р. Оби. Река на тысячи верст, шириной в разлив до шести верст, теперь – версты полторы или меньше. Песчаные косы, низкие берега, покрытые ивняком. Один берег повыше, на нем сосновая и кедровая тайга. По воскресеньям базар – молоко, масло, яйца, рыба, мясо, ягоды, творог, картошка, мука, квас, лук зеленый – это все есть. Имей я рублей двести в месяц, я бы был сыт по горло. Но за все лето, т.е. за два месяца, я позволил себе купить только два литра молока. Масла и рыбы еще не пробовал и позабыл их вкус. 50 руб. в месяц хватает только на хлеб и на тарелку хлёбова в столовке, и то один раз в день. Все это очень печально <...> Поговори с Фединым, нельзя ли так устроить, чтобы у меня были аккуратные 20 руб. за келью? Нужно написать или поговорить с Горьким о моей судьбе.

От Клычкова получил телеграмму из Новосибирска – мол еду на север, но ко мне не заехал, хоть пароходом проехать по Оби одно удовольствие, только хлеба нужно захватить на дорогу. На пароходе его не подают почему-то. Таков сибирский обычай. Но мой милый кум не

заехал. Все, что пришлешь мне – за все земной поклон. Потормоши моих знакомых, чтобы угостили посылочкой. Да объясни, что она идет сюда месяца полтора, а с закрытием навигации в октябре месяце сообщение прерывается до зимней дороги. До Томска триста верст лошадьми, тогда почта идет быстрее, чем пароходом. Все мои знакомые, если бы послали по посылке с крупой, сахаром, макаронами, то я бы был сыт. Потрудишься, похлопочи, тем продлишь мою горькую жизнь. Послал заявление во ВЦИК и Калинин о помиловании в Москву ценным письмом в 50 руб., на имя Клычкова, но страшно беспокоюсь, что он отнесется к всему этому только для позы, разгильдяино, ведь в сущности они с Васильевым до чертиков рады моей гибели. Между тем таинственно не рождается во мне новое сердце, а с ним и сознание, только слушая внутреннее сознание, я послал в Москву свои потрясающие заявления.

Если бы было при мне мое инвалидное свидетельство, то я бы смело пошел на комиссию и меня, если бы не освободили совсем, то наверное перевели бы в место, где можно жить, не подвергаясь прямой гибели. Прошу тебя сходить в Бюро врачебной экспертизы, куда ты водил меня, когда – точно припомни. Подай заявление от моего имени, о выдаче мне второго удостоверения о моей инвалидности второй группы. Многих ссыльных освобождают на основании такого документа. Ведь я совсем болен. И только чудом жив. Дитя мое, услышь меня, не медли в помощи. Поговори с Валентином Михайловичем, он близок к медмиру, он тебе поможет получить мое свидетельство. Если получишь, засвидетельствуй нотариально копию, это легко, и пошли ценным письмом или с обратной распиской. Дитятко, помоги! Вся надежда на твои труды. Как ты будешь без полушубка зимой? Не может ли кто послать мне 1 ½ кило ваты, черной подложки 5 метр, и кисейки для стежки ваты, черных ниток две катушки № 30. Это было бы очень нужно. Не может ли Кума смастерить мне ватные штаны, они здесь зимой неизбежны, портянки теплые, рукавички – хотя бы на вате, потолще и повыше к локтю. Шарф, шапку с ушами. Все нужно мне голому. Если по доверенности получите вещи, телеграфируйте, я вышлю адреса, кому их можно продать. Если можно, вышли денег телеграфом. В июле, я обедаю только через день, т.е. в двое сутки раз. Скажи об этом моим сытым друзьям.

Мое инвалидное свидетельство осталось в Москве, заложено в немецкую большую Библию. Если Зин. Павловна станет хозяйкой моей квартиры, то первым долгом пусть отыщет этот счастливый документ и пошлет мне ценным письмом с обратной распиской засвидетельствованную копию. Что нового в Ленинграде? Что написали поэты, пусть мне пришлют. Так от меня все невероятно далеко! Хотя езда до Питера через Омск четверо суток до Томска, потом пароход по Оби – сутки с часами до меня.

Живу я в общежитии исполкома, есть здесь и гостиница рядом с тем домом, где я. В гостинице № 3 руб. в сутки с кипятком. Если кто поедет, пусть знает. Погода здесь переменная, но все-таки лучше, чем весной. Днем температура 18°–20°. Я два раза купался. Есть хорошая баня 50 коп. с человека – сосновая и просторная, очень приятная. Знакомых я еще не завел. С ссыльными не схожусь – все это мне чужие по духу

люди, какие-то глупые троцкисты. А с остальными я только нукаю да дакаю в разговорах, стараясь поскорей отделаться. Но все меня знают и кланяются при встречах. Если Зина получит мои вещи, то нельзя ли зашить в половик маленькую перину и послать посылкой, белье, белый материал для кальсон, если это будет стоить не дороже самих вещей, а то не надо, лучше деньги, за них здесь можно купить и подушки и перину, иногда очень дешево. Здесь попадаются прекрасные кошмы татарской работы – узорные, тебе бы на пол или на стену, было бы прекрасно! Не забывай, дитя, Деда. Кланяюсь тебе низко и люблю кровно. Умоляю о письмах, о помощи, чтобы мне собраться с силами, а там видно будет.

Кланяюсь прекрасной Неве, всем, кто знает меня. Где дядя Пеша? Пусть приезжает сюда. В Нарым много приехало добровольцев, А ведь ему все равно, где жить. Жалею расстаться с письмом, как с тобой говорить, но делать нечего, в глазах зарябило, до того дописал. Любимый мой, дитя мое, не замедляй письмами!

Прощай. Прости! Горячо целую. Желаю счастья. Прямых путей. Да будет твое искусство чисто и не осужденно перед Вечными Очами. Душа моя с тобою. Жду письма и помощи на пропитание.

* * *

2-го августа 1934 г.

Здравствуй, мое дитяtko.

Горячо лобызаю тебя и кланяюсь тебе низко!

Получил твою душистую, овеянную морем и виноградом открытку. Как ты провел лето? Помнил ли меня и мои песни? Твое письмо со статьей Сони Калитина я получил и написал тебе подробно на улицу Красных зорь, что умозрения Калитина не заслуживают никакого внимания, что это не обозрение искусства, а голословная болтовня. Получил письмо, писанное карандашом от тети, где она советует мне написать съезду писателей. Я послушался и написал, но нет уверенности, что письмо дойдет. Хотя я послал его заказным. Боря сообщает, что доверенность на вещи получил, отлагать ее больше нельзя. Может все пропасть, А между тем, если я не получу на зиму сколько-нибудь денег, то я пропал. Быть может удастся что-либо из вещей продать. Каждый рубль – это день моей жизни. Особенно страшно остаться без угла. Теперь я живу в старом доме у одной старухи из местных жительниц. Нужно платить двадцать рублей в месяц. Если этих 20 р. у меня не будет аккуратно, то придется жить в земляной яме, покрытой хворостом и дерном, а это прямая цинга и гибель! Получил из Москвы посылку – прислали белья, штиблеты, два кило грудинки, манной крупы, сахару с чаем. От бабушки Ильюшиной получил посылку очень съестную и хорошую. Передай ей, что кланяюсь в ноги со слезами. Посылку от Бори – полушубок, теплые кальсоны с носками получил, но валенок там нет, а они смертельно нужны. Если сравнить ледяной Нарым с паровым отоплением на Каменоостровском, где легче выдержать зиму? Поэтому прошу немедленно прислать и валенки, как бы этого мне не хотелось и как бы не было тебя мне жалко, но помоги! Не бросай! Хотя бы первое время! Быть может, скоро кончится путь мой земной <...>

...Все, что имеешь связанным с твоим искусством, присылай мне. Это для меня большая радость. Как с изданием портретов и с Никольским? Почему ты не дал ему понять, что гонорар за издание будет пополам. Я думаю, что это много бы значило. Жизнь очень сурова, и только искусство служит порукой, что она когда-либо смягчится. Прошу писать чаще. От Софии Викторовны получил письмо с медсправкой, пишет, что на днях pošлет мне посылку, но вот уже прошло больше месяца, а о посылке ни слуха ни духа.

Умоляю о съестной посылке. Нужно нацарапать и денег. Навигация закрывается в половине октября и редко в первых числах ноября. До санной дороги – Нарым отрезан от мира, кроме телеграфа. Зимой почта ходит чаще и аккуратней, чем летом, также с посылками не нужно медлить. Посланные в половине сентября придут еще пароходом, в октябре придут уже санями. Дитя мое, не забудь своего Деда! Ведь я твой поэт, а отныне и обязанный раб. Кланяюсь прекрасной Неве от Петергофа до Васильевского острова. Приветствую поэтов. Прошу их о помощи и милостыне! Щемит и гложет мое сердце разлука. Позвони к Софии Викторовне – попроси ее о съестной посылке и о деньгах телеграфом. Поговори с А. Толстым, с В. Шишковым. Попроси их об этом же. Нельзя ли раздобыть мне теплой шапки по моей голове 15 вершков в окружности, перчаток на меху или на вате. Поговори об этом Бассейная, 11, общежитие ТРАМа, с мамой Мих. Соколовского Клавдией Николаевной или с ним самим о теплой рубаше, о съестной посылке, о деньгах телеграфом!!! (смотри, сколько восклицательных знаков). Лето в Нарыме кончилось. Пасмурно и холодно. Редко покажется кривое желтое солнце.

Прощай, дитя мое прекрасное. Прощай и прости. Адрес прежний.

Твой поэт

Николай Клюев

Поторопись помощью по телеграфу, я без копейки.

* * *

25 сентября 1934 г., <Колпашев>

Ты пишешь мне, чтобы я нашел смысл в своем положении и что это поможет мне не разлагаться психически. Так вот, пускай янтари твоих глаз искупаются в цветистых и раскаленных струях моей поэмы – и ты будешь уверен, что твой Дед душой богат и крепок, как никогда, и только тело нужно поддержать куском хлеба, чтобы не опухло оно, не вошло на пролежни и раны и не сошло преждевременно в мерзлую нарымскую землю. Об этом должны бы позаботиться мои друзья и почитатели. Подумай и ты, мое дитячко, по мере своих сил и возможностей. От Софии Викторовны я получил медсправку, но посылки, которую она обещает, я до сих пор не получал, передай ей об этом. В этом году пароход обещает ходить весь октябрь, потом будет перерыв почты до зимней дороги от Томска до Нарыма, приблизительно до первых чисел декабря. Рассчитайте для посылок время. Деньги можно <посылать> телеграфом круглый год, так же и все телеграммы. Прошу о валенках. Полушубок и проч. получил. Говорю с ним, как с тобой, и плачу. Ты пишешь мне, чтобы

я не унывал и был спокоен, но подумай, дитяtko, ведь впереди четыре года слишком проклятого положения нарымского ссыльного! Если бы я попал ногой или рукой в капкан, я бы оставил ему руку или ногу, а сам бы ушел, но силе, которая держит меня в плену, не нужно моих рук и ног, и я глубоко несчастен от сознания этого. Здоровье мое страшно пошатнулось. Целыми неделями я питаюсь лишь кипятком и хлебом. Ильюшина бабушка послала очень хорошую посылку — пользую ее со всей скупостью, и земным поклоном кланяюсь за эту потрясающую душу милостыню, передай бабушке про сие. Скажи, что особенно был хорош и памятен чай, уже давно я не пивал такого. От доктора В.М.Б. получил телеграфом 20 руб. с деревни, мед-свидетельство не получил.

По твоему уверению, что ты будешь платить за комнату, я поселился у вдовы остячки в старинной избе над самой рекой Обью, за оконцем водный блеск и сизость, виден желтый противоположный берег. По ночам летят с криком перелетные гуси. Огромную печь посреди избы остячка начинает топить на рассвете такими же поленьями, какими топят камские пароходы. Я за бревенчатой, обмазаной глиной с навозом стеной — слушаю странную музыку нарымских пустынь и неустанного ветра с океана. Ни одного дня не бывает здесь без пронзительного ветра, а битва и борьба чугунных туч, никогда и нигде мною не виданная. Изба большая с подвалом. В углу Знамение высечено из камня и грубо раскрашено — помнит еще Ермака. Остячка говорит как мужик и ругается матерно на цепную собаку в жалком из жердей придворке. Сейчас 12 ч. дня. Часы отбивает колокол посреди поселка. Летит густой снег. Прощай, Толечка, теплое сердце мое, любимый художник, и роковое дитя мое! Прощай, не медли письмом. Торопись делать добро. Чтоб не опоздать тебе, как опоздал ты в феврале! Кто спросит обо мне — передай всем любовь мою. Милые, желанные люди — как бы я припал к ногам вашим, наревелся бы досыта от горечи сердца и радости, что могу еще обнять вас, что я жив еще. Ведь, вероятно, скоро кончится путь мой земной. По-видимому ждать мне иной свободы нечего. Не ищу славы человеческой — нуждаюсь лишь в одной прощени и забвении моих грехов, вольных и невольных. Простите все!

Адрес прежний.

От Льва Ивановича получил прямо какое-то окровавленное письмо — он сослан в конц. лагерь в Мариинск в Сибири — на три года. Ты, кажется, должен его немножко припомнить, он в последнее время жил у меня. Несчастный парень. Сколько ему стоило кожи и голодовок кончить университет, и вот апофеоз!

Еще раз прошу о письме. Не забывай. Быть может, недолго тебе придется беспокоиться обо мне. Кланяюсь Зинаиде Павловне. Пусть она простит меня, а я желаю ей счастья и искреннего благополучия. Пусть ее красота и молодость украшают твои труды и дни! Еще раз прощай!

Ключев – Н. Ф. Христофоровой*10 июня 1934 г. Колпашево*

Дорогая Надежда Федоровна! После четырех месяцев тюремной и этапной агонии я чудом остался живым, и, как после жестокого кораблекрушения, когда черная пучина ежеминутно грозила гибелью и океан во всей своей лютой мощи разбивал о скалы корабль – жизнь мою, – до верха нагруженный не контрабандой, нет, а только самоцветным грузом моих песен, любви, преданности и нежности, я выброшен наконец на берег! С ужасом, со слезами и терпкой болью во всем моем существе я оглядываюсь вокруг себя. Я в поселке Колпашев в Нарыме. Это бугор глины, усыянный почерневшими от непогод и бедствий избами. Косое подслеповатое солнце, дырявые вечные тучи, вечный ветер и внезапно налетающие с тысячеверстных окружных болот дожди. Мутная торфяная река Обь с низкими ржавыми берегами, тысячелетия затопленными. Население – 80% ссыльных – китайцев, сартов, экзотических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных концов нашей страны – все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев давным-давно стал обглоданной костью. Вот он – знаменитый Нарым! – думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных темных лет без любимой и освежающей душу природы, без приветов и дорогих людей, дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и потоки слез, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных бездонных ямах ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашел первые нарымские цветы – какие-то сизоватые и густо желтые, – бросился к ним с рыданием, прижал их к своим глазам, к сердцу как единственных близких и не жестоких. Они благоухают, как песни Надежды Андреевны, напоминают аромат ее одежды и комнаты. Скажите ей об этом. Вот капля радости и улыбки сквозь слезы за все десять дней моей жизни в Колпашеве. Но безмерны сиротство и бесприютность, голод и свирепая нищета, которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие видения страдания и смерти человеческой здесь никого не трогают. Всё это – дело бытовое и слишком обычное. Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остяки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше всего пугают меня люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от недающего минуты отдохновения больного сердца, суставного ревматизма и ночных видений. Страшные темные посещения сменяются областью загробного мира. Я прошел уже восемь демонических застав, остается еще четыре, на которых я неизбежно буду обличен и воплощусь сам во тьму. И это ожидание леденит и лишает теплоты мое земное бытие. Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон березовой почки, когда она просыпается от зимнего сна. Где же теперь моя чуткость, мудрость и прозорливость? Я прошу Ваше сердце,

оно обладает чудотворной способностью воздыхания. О, если бы можно было обнять Ваши ноги и облить их слезами! Сейчас за окном серый ливень, я навьючил на себя все лохмотья, какие только уцелели от тюремных воров. Что будет осенью и бесконечной 50-градусной зимой? Временно или навсегда, не знаю, я помещен в только что отстроенный дом, похожий на дачный и в котором жить можно только летом. Углы и конуры здесь на вес золота. Ссылные своими руками роют ямы, землянки и живут в них, иногда по 15-ть человек в землянке. Попасть в такую человеческую кучу в стужу считается блаженством. Кто кончил срок и уезжает, тот продает землянку с печкой, с окном, с жалкой утварью за 200–300 рублей. И для меня было бы спасением одному зарыться в такую кротовью нору, плакать и не на пинках закрыть глаза навеки. Если бы можно было продать мой ковер, картины или складни, то на зиму я бы грелся живым печужным огоньком. Но как это осуществить? Мне ничего не известно о своей квартире. Нельзя ли узнать и написать мне, что с нею стало? Хотя бы спасти мои любимые большие складни, древние иконы и рукописные книги! Стол расписной, скамью резную и ковер один большой, другой шелковый, старинной черемисской работы, а также мои милые самовары! Остальное бы можно оставить на произвол судьбы. В комодке есть узел, где хранится плат моей матери, накосник и сорочка. Как это уберечь?! Все эти вещи заняли бы только полку в Вашем шкафу. Но что говорить об этом, когда самая жизнь положена на лезвие! Продуктов здесь нет никаких. Продавать съестное нет обычая. Или всё до смешного дорого. Бутылка жидкого водяного молока стоит 3 руб. Пуд грубой, пополам с охвостьем, муки 100 руб. Карась величиной с ладонь 3 руб. Про масло и про мясо здесь давно забыли. Хлеб не сеют, овощей тоже... Но что нелепей всего, так это то, что воз дров стоит 10 руб., в то время как кругом дремучая тайга. Три месяца дождей и ветров считаются летом, до сентября, потом осень до Покрова, и внезапный мороз возвещает зиму. У меня нет никакой верхней одежды, я без шапки, без перчаток и пальто. На мне синяя бумазейная рубаха без пояса, тонкие бумажные брюки, уже ветхие. Остальное всё украли шалманы в камере, где помещалось до ста человек народу, днем и ночью прибывающего и уходящего. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо, узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и желтые штилеты, которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен. Так разворачивается жизнь, так страдную тропюю проходит душа. Не ищу славы человеческой, ищу лишь одного прощения. Простите меня, дальние и близкие! Всем, кому я согрубил или был неверен, чему подвержен всякий, от семени Адамова рожденный! Благословляю всякого за милостыню мне, недостойному, ибо отныне я нищий, и лишь милостыня – мое пропитание! Одна замечательная русская женщина мне говорила, что дорого мне обойдется моя пенсия, так и случилось, хотя я и не ждал такой скорой развязки. Но слава Богу за всё! Насколько мне известно, расправа с моей музой произвела угнетающее действие на лучших людей нашей республики. Никто не верит в мои преступления, и это служит для меня утешением. Если будет милостыня от Вас, то пришлите мне чаю, сахару, если можно, то свиного шпика немного, крупы манной и компоту – потому что здесь цинга от

недостатка растительной пищи. Простите за указания, но иначе нельзя. Если можно, то белых сухарей, так как я пока еще очень слаб от тюремного черного пайка и воды, которыми я четыре месяца питался. Теперь у меня отрыжка и резь в животе, ломота в коленях и сильное головокружение, иногда со рвотой.

Получил от Н<адежды> А<ндреевны> 50 руб. по телег<рафу> уже в Колпашев. Сердце мое озаряется счастьем от сознания, что русская блистательная артистка милосердием своим и благородством отображает «Русских женщин» декабристов, «во глубину сибирских руд» несущих свет и милостыню. Да святится имя ее! Когда-нибудь в моей биографии чаша воды, поданная дружеской рукой, чтоб утолить алкание и печаль сосновой музыки, будет дороже злата и топазия. Так говорят даже чужие холодные люди. Простите за многие ненужные Вам мои слова. Я знаю, что для Вас я только лишь страдающее живое существо и что Вам и Вашему милосердию я совершенно не нужен как культурная и тем более общественная ценность, но тем потрясающее и прекраснее Ваша простая человечность!

Простите, не осудите, и да будет ведомо Вашему сердцу, что если я жив сейчас, то главным образом надеждой на Вашу помощь, на Ваш подвиг доброты и милостыни. На золотых весах вечной справедливости Ваша глубокая человечность перевесит грехи многих. Кланяюсь Вам земно. Плачу в ладони рук Ваших и с истинной преданностью, любовью и обожанием, которые всегда жили в моем духе, и только дьявольский соблазн и самая трепетная глубокая забота не причинить Вам горя на время отдалили внешне меня от Вас – в Москве. Жадно и горячо буду ждать от Вас письма. Кланяюсь всем, кто пожалеет меня в моем поистине чудовищном несчастье.

Если бы удалось зажить своей землянкой, то было бы больше покоя для души моей, а главное, чужие глаза не видели б моего страдания. Что слышно в Москве про меня? Возможны ли какие-либо надежды? Нужно торопиться с хлопотами, пока не поздно. Я подавал из Томска Калинин заявление о помиловании, но какого-либо отклика не дождался. Не знаю, было ли оно и переслано. Еще раз прощайте! Еще раз примите слезы мои и благословения. Земно кланяюсь Анат<олию> Ник<олаевичу>, милым Вашим комнатам с таким ласковым диваном, на котором я спал! Где будете летом и где будет Н<адежда> А<ндреевна> ?

Адрес: Север<о>-Запад<ная> Сибирь, поселок Колпашев. До востребования такому-то.

* * *

28 июля 1934 г. Колпашево

Дорогая Надежда Федоровна! Получил Ваши посылки, как бы из другого мира гостинцы. Такой сказкой пахнуло мне в душу от милых вещей, ведь они пришли из Москвы, с Голутвинского переулка, где меня любили и где я видел столько ласки и внимания, и только мучительные и безобразные условия, в которые я был поставлен за последний год, разлучили меня с ним. Но всё к лучшему. Ваши сердечные прямые слова как

корпия на мои раны. Умоляю Вас о письме. Каждое Ваше слово я пью, как липовый мед. Так мне никто не скажет. Я очень обрадован, что для Вас понятна моя чисто внешняя неискренность, я очень страдал за это неприсущее мне по природе свойство, но я пробовал раз в жизни обыграть черта в карты – теперь познал, что для этого я не гожусь. Сколько труда было Вам с посылками! Как трогательны клубки с шерстью! Облил я их слезами. Два платочка с голубыми каемочками – благодарю за них, через всё я общаюсь с дорогими мне людьми, и вот уже три дня, как будто гощу у Вас, вижу Ваши милые комнаты, где столько пережито мною чистых чувств, слов и видений. Я готов оставить Нарыму руку или ногу, как медведь капкану, только бы ухватиться за порог Вашего жилища и рыдать благодарно, как может благодарить человек, снятый с колеса! Вечные очи любви и звезды небесные – порука за мою искренность и благодарность. Над<ежде> Андр<еевне> я написал письмо и в Москву, и на Кавказ, Горькому, думаю, напрасно писать. У него есть секретарь Крючков, который мое письмо непременно затормозит. Нужно письмо вручить лично и поговорить. Горький всю жизнь относился ко мне хорошо, я крепко надеюсь, что и теперь он не изменился ко мне. Ведь поэт Павел Васильев, которого он поучает и отвечает письмами на его, Васильева, письма, только мой младший ученик в искусстве. Квартира моя еще в июне была запечатана. Послал доверенность, заверенную официально, не знаю, что будет. У меня ведь все вещи-то на любителя и для ширпотреба не годятся. Если продать, напри<м>ер, ковер или древние складни, то я хотя бы сколько-нибудь смягчил Ваше беспокойство обо мне и моем куске хлеба. Ах, если бы удалось это! Недавно я получил сообщение, что мне разрешено печататься везде, где пожелаю, дело лишь за созвучными с нашей эпохой произведениями. Но не оставляйте меня! Время свое покажет. Вот идет полярная зима, уже тянет из тундры изморозью по вечерам, а я ведь только что перенес воспаление легких, очень ослаб, горю и глухо кашляю, если к этому прибавить старинную болезнь сердца, общий ревматизм и болезнь сосудистой ткани, то хлопотать обо мне долго не придется. Напишите, как живете? Что нового в искусстве Миши? Окончил ли он своего Сирина? Жалеет ли меня? В Колпашеве театра нет. Хотя часто сердце щемит от необходимости побывать в нем, но приходится убаюкивать себя прошлыми видениями. Интересных людей я не вижу. Иногда на улице кланяются незнакомые, но я ни с кем из ссыльных не схожусь. Слишком уж кровоточит душа, чтобы с кем-либо чужим сходиться. Местное начальство относится ко мне хорошо. Внешне никто меня пока не обижает и не шпыняет. Начальник здешнего ГПУ прямо замечательный человек и подлинный коммунары. Всякий день варю суп из присланной ветчины, приправляя манной крупой, картофелем и луком. Очень вкусно. От Толи получил письмо, обещает посылку, но что он может, когда сам еще учится, и всё, что я имел в Москве, отсылал ему в Питер. Он переведен в третий индивидуальный класс. Читал о нем статью в журнале – называется «Большие горизонты». Мне очень приятно, что мой посев принес в лице этого юноши пока еще цветы, а в будущем, быть может, и плоды. Его последняя живописная работа: «Портрет Зоценко» – очень хорош – помещен в журнале и прислан мне. У Толи уже жена –

очень видная и красивая женщина, что будет – дальше покажет время. Сейчас за окном ливень и по обыкновению серое нарымско<е> небо. На столе у меня букет лесных цветов в глиняном горшке. Цветы здесь задумчивые, всё больше лиловые, покрытые пухом, как шубой. Это они защищены от холодных утренников. Недавно был на жалком местном кладбище – всё песчаные бугорки, даже без дерна, без оградок и даже без крестов. Здесь место вечного покоя отмечают по-остяцки – колом. Я долго стоял под кедром и умывался слезами: «Вот такой кол, – думал я, – вобьют и в мою могилу случайные холодные руки». Ведь братья-писатели слишком заняты собой и своей славой, чтобы удосужиться поставить на моей могиле голубец, которым я давно себя утешал и многим говорил о том, чтобы надо мной поставили голубец. Простираюсь к Вам сердцем своим. Зёмно кланяюсь. Простите меня за всё вольное и невольное, за слово, за дело, за помышление. Желаю Вам жизни, света и крепости душевной. Передайте от меня поклон всем, кто знает меня или спросит обо мне. Еще очень важная просьба к Вам. Мне необходимо получить медицинское свидетельство от профессора Плетнева с приложением печати и его подписью, что я болен кардиосклерозом, артериосклерозом и склерозом мозговых сосудов, что дает мне право на инвалидность второй группы. Это может облегчить мое положение. На основании такого документа я могу смелей идти на комиссию, и она, я уверен, примет к сведению то, что меня лечил Плетнев и удостоверил документом. Я могу быть переведен в лучшие условия, где есть специальное по моей болезни лечение. Потрудитесь. Поговорите об этом с Над<еждой>Андреев<ной>. Она хорошо знает Плетнева, и он ее выслушает, а сам я, хотя и лечился у него, но забыл адрес, чтобы просить о свидетельстве письмом. Повторяю: это очень может мне помочь. Многие по инвалидности второй группы совершенно освобождались. Мое свидетельство, выданное Бюро врачебной экспертизы, осталось в Москве в квартире. Его даже обещались мне добыть, но это не наверно. Простите. Прощайте! Жизнь Вам и свет. Еще раз прошу о письме и милостыне.

Н. Клюев

Клюев – С. А. Клычкову

12 июня 1934 г. Колпашево

Дорогой мой брат и поэт, ради моей судьбы как художника и чудовищного горя, пучины несчастья, в которую я повержен, выслушай меня без борьбы самолюбия. Я сгорел на своей «Погорельщине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу, такую юную и потому много не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня

до костей. Ты знаешь, как я вообще слаб здоровьем, теперь же я навсегда загублен, вновь опухоли, сильнейшее головокружение, даже со рвотой, чего раньше не было. Поселок Колпашев – это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки в погоне за жраньем. Подумай об этом, брат мой, когда садишься за тарелку душистого домашнего супа, пьешь чай с белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час – о несчастном – бездомном старике-поэте, лицезрение которого заставляет содрогнуться даже приученных к адским картинам человеческого горя спецпереселенцев. Скажу одно: «Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!» Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер – это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что всё мое выкрали в общей камере шалманы. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда идти? Что делать? Что-либо ра <часть текста утрачена> ему, как никому другому, следовало бы мне помочь. Он это сам хорошо знает. Помогите! Помогите! Услышьте хоть раз в жизни живыми ушами кровавый крик о помощи, отложив на полчаса самолюбование и борьбу самолюбий! Это не сделает вас безобразными, а напротив, украсит всеми зорями небесными! <Часть текста утрачена.>

Прошу и о посылке – чаю, сахару, крупы, компоту от цинги, белых сахарей, пока у меня рвота от 4-месячных хлеба с водой! Умоляю об этом. Посылка может весить до 15-ти кило по новым почтовым правилам. Летним сообщением идет три недели. Прости меня за беспокойство, но это голос глубочайшего человеческого горя и отчаяния. Узнай, что с моей квартирой – соседи мои Швейцер тебе расскажут подробно. Ес<ть> ли какие надежды на смягчение моей судьбы, хотя бы переводом в самые глухие места Вятской губ<ернии>, как напр<имер>, Уржум или Кукарка, отстоящие от железной дороги в полтысячи верстах, но где можно достать пропитание. Поговори об этом – Кузнецкий мост, 24 – с Пешковой, а также о помощи мне вообще. Постарайся узнать что-либо у Алексея Максимыча. Не может ли мне помочь Оргкомитет хотя бы денежным переводом. Нельзя ли поговорить с Бубновым? Подать ли во ВЦИК Калинину о помиловании? Думаю, что тебе на свежую голову всё это ясней, я вовсе оглох и во всем немощен. Бормочу с тобой, как со своим сердцем. Больше некому. Целую твои ноги и плачу кровавыми слезами. Благословляю Егорушку, зёмно кланяюсь куме и крепко верю в ее милосердие. Не ищу славы человеческой, а одного – лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите! Ближние и дальние. Мерзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело мое, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости!

Целую тебя горячо в сердце твое. Поторопись сделать добро – хлопочи и напиши или телеграфируй мне: Колпашев, до востребования. Н. Клюеву.

ПИСЬМА Н.А. КЛЮЕВА ИЗ ТОМСКА

В. Н. Горбачовой

12 октября 1934 г. Томск

Дорогая Варвара Николаевна, жалко, что послал Вам большое письмо, как получил перевод в г. Томск, говорят, что это милость, но я вновь без угла и без куска хлеба. Постучался для ночлега в первую дверь – Христа ради. Жилье оказалось набитой семьей, в углу сумасшедший сын, ходит под себя, истерзанный. Боже! Что будет дальше со мной? Каждая кровинка рыдает. Адрес: г. Томск, Главпочтамт, до востребования.

Помогите, чем можете.

Прощайте.

Ваш дед Н. Ключев.

* * *

Н. Ф. Христофоровой

24 октября 1934 г. Томск

Дорогая Надежда Федоровна. На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу верст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять за милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студеное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрел по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался, то на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок. Промокший до костей, голодный и холодный, уже в потемки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города – в надежде выпросить ночлег Христа ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой человек – приветствием: «Провидение послало нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали». При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, стал на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принес валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая рыдание, разделся и улегся, – так как хозяин, ни о чем не расспрашивая, просил меня об одном – успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел самоварчик, на деревянном блюде – черный хлеб... За чаем хозяин поведал мне следующее: «Пришла, – говорит, – ко мне красивая, статная женщина в старообрядческом наряде, в белом платке по брови: прими к себе моего страдальца – обратилась она ко мне с просьбой – я за него тебе уплачу – и подает золотой». Дорогая Надежда Федоровна, Вы поймете мои слезы и то состояние человека, когда всякая кровинка рыдает в нем. Моя родительница упреждает пути мои. Мало этого – случилось и следующее. Я полез в свой мешок со съестным, ду-

мая закусить с кипятком, но сколько я ни ломал ногтей, не мог развязать пестрядиной кромки, которою завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я стал пилить по узлу и вдоль рубца. Отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под толстой домотканной заплатки вылез желтый кружочек пятирублевой золотой монеты! Вы мне писали, чтобы я пересмотрел свою жизнь. Я знаю, что за грехи и за личины житейские страдаю я, но вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и вечный свет. Хозяин, ссыльный диакон с Волыни, скоро кончает срок своей ссылки, поедет в Москву, – и, если можно, то зайдет к Вам с поклонами. Только расспрашивать его не нужно. Если он почувствует внутреннее разрешение, то и сам расскажет. Про такие явления нельзя говорить холодным, набитым лукавыми словами, людям. Теперь я живу на окраине Томска, близ березовой рощи, в избе кустаря-жестянщика. Это добрые бедные люди, днем работают, а ночью, когда уже гаснут последние городские огни, встают перед образа на молитвенный подвиг. Ничего не говорят мне о деньгах, не ставят никаких условий. Что будет дальше – не знаю. Уж очень я измучен и потрясен, чтобы ясно осмысливать всё, что происходит в моей жизни. Чувствую, что я вижу долгий, тяжкий сон. Когда я проснусь – это значит, всё кончилось, значит, я под гробовой доской. Прошу Вас – потерпите еще немного, не бросайте меня своей помощью по-человечески и по простоте Вашей. Моя Блаженная мать небесным бисером оплатит Вам за Вашу хлеб-соль и милосердие ко мне недостойному.

Томск – город путаный, деревянный, утонувший по уши осенью в грязи, а зимой в снегах... Это на целую тысячу верст ближе от Нарыма к России. На базаре можно за деньги купить разную пищу: мясо 8 р., хлеб 1 р. 50 к., картофель 3 руб. ведро, нет только яблок и никаких круп. Я чувствую себя легче, не вижу бесконечных рядов землянок и гущи ссыльных, как в Нарыме. А и в Томске как будто бы потеплее, за заборами растут тополя и березы, летают голуби, чего нет на Севере. Комнаты у меня нет отдельной, изба общая с печью посередине. Приходится вставать еще впотьмах. Приходят в голову волнующие стихи, но записать их под лязг хозяйской наковальни и толкотню трудно. В феврале будет год моих скитаний, впереди еще четыре – но и первый показался на столетие. Как живете Вы? Как Наумовы? Я писал им письмо, но ответа не получил. Слезно прошу Вячеслава о письме. Кланяюсь Мише. Как его искусство? Мне это весьма интересно. Сообщите, как живет Надежда Григорьевна – я не знаю ее адреса, – хотелось бы написать ей письмо. От Надежды Андреевны получил письмо и 50 р. уже в Томске. Лучшие перлы из моих сердечных морей вплетаю в ее венец Сириноптицы. Поплакал я, когда прочитал в ее письме, что прекрасный Собинов отзвучал навеки. Как мало остается красивых людей в нашей стране! Не могу оторваться от письма, но так трудно говорить на бумаге. Простите. Не забывайте. Помогите, чем можете. Адрес: г. Томск, переулок Красного Пожарника, дом № 12.

24 октября 34 г.

* * *

В. Н. Горбачовой*1 ноября 1934 г. Томск*

Дорогая Варвара Николаевна. Получил двадцать пять. Благодарю от всего сердца. Живу в углу на окраине Томска у жестянщика-старика со старухой. Очень мучительно на чужих глазах со своими нуждами душевными и телесными. Комнатки отдельной здесь не найти, как и в Москве. Это очень удручает. Дрова сорок руб. возик. Везде железные топки с каменным углем. Смертельно скучаю. Прошу о письме. Кланяюсь земным поклоном.

* * *

И. Э. Грабарю*7 декабря 1934 г. Томск*

Игорю Грабарю от поэта Николая Клюева. Я погибаю в жестокой ссылке, помогите мне чем можете. Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны. Адрес: Север<о>-Западная Сибирь, г. Томск, переулок Красного Пожарника, изба № 12.

7 декабря 1934 г.

* * *

В. Н. Горбачовой*Начало – первая половина декабря 1934 г. Томск*

<Пишу Вам че>твертое письмо, <дорогая Варва>рия Николаевна. <В них я говор>ил, что удастся, <быть может>, кое-что из моего <имущества прода>ть и выслать <мне деньги на> хлеб. Свыше человеческих сил мое страдание. Быть может, уцелело что-либо из продуктов: в чайном поставце осталась четверть хорошего чаю не раскупоренной, и в стеклянной чайнице высыпана другая четверть фунта. Кофе в глиняной зеленовато-черной большой сахарнице с крышкой, жареный, два фунта, цикория в пачках. В кухонном столе двадцать фунтов гречи. Ах, если бы чудом всё это уцелело! Много и другого: макароны, рис, пшено, всего не помню. Быть может, удалось бы соорудить посылочку. Какое бы было счастье! Жадно жду письма от Вас. Нельзя ли вспомнить мужских черных ботинок? Они совершенно хорошие, и мне хватило бы их надолго. Есть и сандалии. Одним словом, всё, что можно. Побеспокойтесь! До гробовой доски не забуду Вашего милосердия. Вся надежда, что в течение декабря что-нибудь выяснится с деньжатами. Иначе меня выгонят на улицу. За угол нужно платить 20 руб. в месяц. С января можн<о> бы было уже> нанять отдельн<ую> комнатушку, но, повторяю, не<где> взять ежеме>сячные 20 руб. <Толечка не мо>жет ничего боль<ше> сделать. Он> живет только на <ученическую сти>пендию, соверше<нно> без помощи>, так как родные его оставили: переехали на постоянное местожительство

в Севастополь. За семьей-то ему было легче, а теперь вовсе тяжело, желательнее бы не сломать резной спинки у моей скамьи. Скамья разбирается, и спинка снимается, только выбить клинышки с испода и положить спинку плашмя на скамью, перевязать, и она не сломается при перевозке. В Томске глубокая зима. Мороз под 40°. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб. Деньги от двух до трех рублей – в продолжение почти целого дня – от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда и бывает мой выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлебку, куда полагаю всё: хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немножко клеверного сена, если оно попадает в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало. Сахар великая редкость. Впереди морозы до 60°, но мне страшно умереть на улице. Ах, если бы в тепле у печки! Где мое сердце, где мои песни?! Еще раз умоляю о письмах. Про запас прощайте. Кланяйтесь моим знаменитым друзьям – русским художникам и поэтам!

* * *

Н. Ф. Христофоровой

22 февраля 1935 г. Томск

*Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное
для него время, защитой от бури, тенью от зноя.*

Исайя, XXV, стих 4

Милосердие Божие обновляется каждое утро.

И зная его надо мною – любовь.

Шаг Иеремии, III, 22-23

Дорогая Надежда Федоровна!

В острожной больнице одна сиделка принесла арестанту-уголовнику сваренное яйцо. «Слишком круто сварено», – сказал больной и оттолкнул его. Сиделка удалилась так же спокойно, как если бы арестант прилично поблагодарил ее... Вскоре она вернулась со вторым яйцом и ласково предложила больному...

«Оно недостаточно сварено», – проворчал он с досадой.

Женщина ушла, ничуть не изменившись, и пришла в третий раз, держа в руках кастрюльку с кипящей водой, сырое яйцо и часы. «Подержите, дорогой, — сказала она ласково, – теперь у вас под рукой всё, что нужно, чтобы сварить яйцо так, как вам хочется...»

«Позовите ко мне батюшку», – сказал преступник и приподнялся. Сестра с удивлением, недоумевая, посмотрела на этого зверя.

«Я не шучу, – ответил он на немой вопрос сиделки. – Я желаю причаститься... Так как на земле существует такой ангел терпения, как вы, то я теперь верю, что и на небе существует милосердный Бог».

Ваше отношение ко мне целиком повторяет этот случай, захлебываясь слезами, я прочитал Ваше письмо. Никакой богословский реферат не дал бы моему сердцу столько убеждения и свежести душевной –

сколько дают Ваши простые строки, – в которых журчит и струится глубочайшая человечность.

Елиазар – слуга Авраама – просит у девушки, пришедшей из города, почерпнуть воды напиться. «Пей, господин, и верблюдов твоих я напою». Это была Ревекка – мать всех плачущих матерей.

Я прошу у Вас кусок хлеба, а Вы обслуживаете и верблюдов моих – мои грубые телесные нужды. Вот уж истинно: «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная» (Послание Павла к Римлянам. VI, 22). «Когда я немог, тогда силен» (2 <послание> к Коринфянам. XVII, 10).

Когда деревья стоят в густом зеленом уборе, то нелегко находить на них плоды, – и многие из них остаются незамеченными. Когда же наступает осень и оголяет деревья, то плоды все обнаруживаются. В сутолоке жизни человек едва узнаваем. Его сокровенная жизнь сокрыта в этой чаше. Когда же вторгаются страдания, мы узнаем избранных и святых по их терпению, которым они возвышаются над скорбями. Одр болезни, горящий дом, неудача – всё это должно содействовать тому, чтобы вынести наружу тайное. У некоторых души уподобляются духовному инструменту, слышимому лишь тогда, когда в него трубит беда и ангел испытания. Не из таких ли и моя душа?

Я известил Вас телеграммой, что все переводы я получил в целости. Кажется, сообщал о каждом из них открыткой при получении, не выходя из здания почты. Но в Сибири все порядки несколько другие, чем в Москве, иногда кучу писем находят в овраге — потому что рассылный исчез неизвестно куда. Простираюсь сердцем в Ваш уголок за шкафом. Кланяюсь всем милосердствующим мне недостойному. Я теперь не в общей избе – у меня угол за заборкой, хотя дверь в общую избу не навешена. Но у меня чисто. Купил кровать за 20 руб., есть подушка и одеяло, чайник для кипятка, деревянная чашка для еды с такой же ложкой. Люди, которые меня приветили, ушли не сказавшись. За заборкой живет мужик с бабой и с двумя ребятами – выселенцы из Вятской губер<нии>. В боковой половине живут две старухи, старик и девка-поломойка. Наезжают с базара колхозники, пьют водку, жрут сырой лук от цинги, которой здесь по зимам болеют повально. Я познакомился с одной очень редкой семьей – ученого-геолога. Сам отец пишет какое-то удивительное произведение, ради истины зарабатывает лишь на пропитание, но не предаст своего откровения. Это люди чистые и герои. Посидеть у них приятно. Я иногда и ночую у них. Поедет сам хозяин в Москву, зайдет к Вам – он очень простой – хотя ума у него палата. Я написал Вам свои мысли об очищенном сердце – вышлю большое сочинение. Много в нем сердечного волнения, но боюсь послать его почтой, чтоб не затерялось, как затерялось безмерно красивое и душистое письмо к Н<адежде> А<ндреевне>, посланное ей на Рождество. Постараюсь свое писание о чистом сердце послать с оказией. 2-го февраля исполнился год как я в изгнании, впереди еще годы... «Но для всех благоговеющих перед именем Моим взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Пророк Малахия, глава IV, ст. 2). Доверенность на мое имущество я послал Сергею Клычкову, но еще ничего определенного не добился. Толечка женился на особе за 30-ть лет. Очень опытной житейски. Занят своею любовью по уши и даже матери в

Севастополь не пишет ни строчки. Время покажет, что с ним будет дальше. Он в Академии учится и еще ничего не зарабатывает. Клычкова не печатают. Это добрый, хотя и рассыпанный человек – иногда его жена мне посылает милостыню. И я кланяюсь земным поклоном ночным тучам и вершинам сибирских сосен за ее милосердие.

Ходит ко мне в год кот Рыжик, – туземный, с глазами рыси и пушистым хвостом. Хлеба не ест, а мяса у меня нет. Угощаю его жвачкой из рта.

В театре здесь идет оперетта «Цыганский барон», «Марица» и т. п. Поет Дарский, Лидарская – что-то я слышал краем уха о них – но не знаю их как артистов. Университетская библиотека здесь богатая. Заведует ею Наумова-Широких. Женщина из редких по обширному знанию. Она меня приглашала к себе – хорошо знает меня как поэта. Но, признаться, мне на люди выйти не в чем. Моя синяя рубаша прирвалась и полиняла, кафтанец же украли в этапе, сапоги развалились – и во всем Томске нет кусочка кожи их починить. Н<адежда> А<ндреевна> прислала мне в посылке бумазейную рубашу – но она к горю моему оказалась тесной и короткой. А без этой маленькой декорации я не могу читать своих русских стихов. Особенно людям, которые меня не знают. Кланяюсь еще раз всем – кто меня жалеет и кому моя судьба не кажется скучной. Многих я веселил в жизни – и за это плачусь изгнанием, одиночеством, слезами, лохмотьями, бездоьем и, быть может, гробовой доской, безымянной и затерянной.

Простите. Целую порог жилища Вашего. (В письмах не нужно адрес на Кузнецова, а прямо на меня.)

22 февраля 1935 г.

В. Н. Горбачовой

Июль (после 5-го) 1936 г. Томск

<Очнулся> как от летаргического сна, <дорогая Вар>вара Николаевна. Четыре ме<сяца> был прикован к постели: разбит пара<личом> и совер<шенно> беспомощен. Отнялась <левая рука> и нога, и левый глаз закрылся <несколько слов утрачено> сослать в Туруханский край <несколько слов утрачено> мои не выдержали, к тому же я непоправимо болен пороком сердца в тяжелой форме. Всё это удостоверили врачи по распоряжению местного НКВД. Теперь я в своей комнатухе среди чужих людей, которым я нужен как собаке пятая нога. День и ночь лежу, сегодня первый раз сполз к столу и, обливаясь потом от слабости, пишу Вам: сходите к прокурору республики – просите его на основании моей неповторимой болезни освободить меня досрочно. Возьмите меня на свое иждивение – это ровно Вас ни к чему не обязывает и нужно лишь официально. Не бойтесь. Я не утружу Вас. Без человека же и бумажки о том, что кто-то меня больного берет на иждивение, – не освобождают, а заключают в лагерь для инвалидов до смерти. А это равносильно тюрьме. Умо-

ляю не откладывать хлопот – так как великое мое несчастье в лице новой ссылки может всегда и неожиданно повториться. Моя тяжкая болезнь сибирскому начальству не помеха. Несмотря на то, что существует определенная статья по болезни досрочно <освободить>. Болезнь же моя превышает пр<одолжи>тельность всякой статьи. П<рошу подать> заявление и Калинину. Ес<ли будет из> Москвы хотя бы слабое дунов<ение милости>, то меня не казнят. Облива<юсь потом,> очень слаб. Кругом ждут <несколько слов утрачено> денег нет. На беду появился аппетит. Кланяюсь милому Журавлю. Тоскую невыразимо, под несметными избяными мухами — лежу в духоте, давно без бани, вымыть некому, накопить тоже. Левая рука висит плетью. На ногу маленько ступаю. Она распухла, как корчага. Помогите, чем можете! Жду весточки. Кланяюсь со слезами. Заранее сердцем благодарен. Адрес: переулок Красного Пожарного, 12.

Долго был без памяти, да и сейчас много не помню.

Простите. Не осудите.

Н. Клюев.

* * *

Н. Ф. Христофоровой

После 5 июля 1936 г. Томск

Дорогая Надежда Федоровна! Радостной теплотой заливает мне сердце сознание, что я снова могу писать Вам – говорить с Вами! С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5 июля. Привезли и вынесли на руках из телеги в мою конуру. Я лежу... лежу, мысленно умираю, снова открываю глаза – всегда полные слез. Из угла смотрит мне в сердце «Страстная» Владычица, Архангел Михаил на пламенном коне низвергает в пучину Вавилоны, Никола Милостивый в белом омофоре с большими черными крестами, с необыкновенно яркими глазами, лилово-агатовыми, всегда спасающими... В своем великом несчастье я светел и улыбчив сердцем. Я посещен трудной болезнью – параличом левой стороны тела. Не владею ни ногой, ни рукой. Был закрыт и левый глаз. Теперь я калека. Ни позы, ни ложных слов нет во мне. Наконец, настало время, когда можно не прибегать к ним перед людьми, и это большое облегчение. За косым оконцем моей комнатухи серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже осень, холодно, грязь по хомут. За дощатой заборкой ревут ребята, рыжая баба клянет их, от страшной общей лохани под ручкой несет тошным смрадом, остро, но вместе нежно хотелось бы увидеть сверкающую чистой комнатой, напоенную музыкой «Китежа», с «Укрощением бури» на стене, но я знаю, что сейчас на берегу реки Томи, там, где кончается город, под ворохами осенних листьев и хвороста найдется и для меня место. Вот только крест некому поставить, а ворота туда в березовую рощу всегда открыты... Прошу Вас – напишите о себе, о Москве! Мне передали, что один сибиряк был у Вас. Я его не видал. Он приедет по заморозкам и всё мне расскажет. Из Москвы редко

получаю письма. Почти два года квартира моя была заперта. Мое доверенное лицо недосчитал многого, чтобы можно было удобно и скоро продать. На то, что осталось, нет покупателей, следовательно, и милостыня мне прекращается. Мне в настоящем моем положении калеки и попросить ради Христа позволительно. Прошу Вас поговорить с Николаем Семеновичем – об иконе-складне, который он у меня смотрел. Тогда ему показалось дорого, теперь пусть он сам назначит цену и приобретет этот редкий и прекрасный складень. Он ничего не потеряет через эту покупку. Очень прошу Вас об этом. Мне необходимо лечь в клинику, но нужно платить шесть руб. в сутки. На беду у меня явился аппетит. Я немного стал бродить от койки до стола и до рукомошника. Очень тяжело на чужих людях хворать. Каждую минуту жди ворчанья и оскорбления. Таков мой крест. Господь меня не забывает, посещает и пасет меня своим жезлом железным! Я писал Вам в начале марта. Письмо со вложением карточки Федора Кузьмича Томского – легендарного старца. Получили ли Вы его? Если сотворите мне убогому милостыню, заплачу Вам за нее слезами, преданностью и любовью! Не найдется ли чего из белья, нет ли брюк, перчаток, старых штиблет? За всё земной поклон.

* * *

В. Н. Горбачовой*25 октября 1936 г. Томск*

Приветствую Вас, дорогая Варвара Николаевна! Я всё еще лежу. Хожу очень плохо – едва до скамеечки у ворот, чтоб после общей избы, криков и брани – подышать сибирскими тучами, снегом ранним, каким-то лохматым и густосивым, посмотреть на звезды и на санцах памяти прокатиться по прошлому. Вот уже скоро три года – мрачных, мучительных и тяжких (как жернов на шее), как я в изгнании, а теперь калека... Умываюсь слезами. Огорчений каждый день не предусмотреть. Я – моя хозяйка по квартире, властная базарная баба, – взялась меня кормить за 75 р. в месяц. На исходе месяца начинаются справки – получил ли я перевод и т. п. Следом идут брань, придирки. Очень тяжело. Слез моих не хватает. И я лежу, лежу... С опухшей, как бревно, ногой, с изжелта-синей полумертвой рукой. Напишите мне весточку. Ваши слова мне очень помогают! Я послал Вам спешное письмо с новым заявлением. Волнуюсь, жду ответа. На это спешное от Вас извещение я не получал. Весьма беспокоюсь. Как Вы поживаете? Всё ли у Вас благополучно?! Какие новости в искусстве? Я ничего не знаю и не слышу. Вам говорили, что Томск – город университетский, для кого как, а для меня это пустыня, гноище Иова. Для кого озеро Лаче, а для Даниила Заточника оно было озером плача. Большая охота поговорить с поэтом-художником. Трудно, конечно, представить, как я придавлен и как болят мои язвы. Как бы подержаться еще на поверхности? – какие существуют для этого средства? Переслано ли «непосредственно» мое заявление? Прошу Вас, уделите полчаса от своих забот и трудов – напишите мне! Всякое слово из Москвы для меня ценно, порождая целый хоровод видений и выводов. Очень прошу Вас о милостыне и

о письме! Нельзя ли где раздобыть мне смену-две белья – хотя, платанного, нет у меня теплой шапки и ничего на руки. Если попадетя шапка, то самого большого размера – у меня голова большая, 15 вершков в окружности. Конечно, здесь можно и купить, но для этого нужно самое малое 25 рублей на ушанку овечью <одно слово неразборчиво>, которая только и спасает от сибирских морозов и пурги. Не знаете ли адреса Толи – раз он очень модный, то, может быть, он мог бы что-либо купить из моего барахла себе на память обо мне и моей судьбе. Нельзя ли предложить чего Обуховой: Брюсовский пер., дом 7?

Низко вам всем кланяюсь. Погибну, – поминайте и верьте моей любви к вам и истинной теплоте сердечной. Еще раз прошу о милостыне и о письме – как Вы поступили с моим спешным письмом?

25 октября.

* * *

В. Н. Горбачовой

Вторая декада апреля 1937 г. Томск

Приветствую Вас от всего сердца, дорогая Варвара Николаевна! Благодарю со слезами за помощь, за 100 и 60! Время делает свое, и я всё реже и реже получаю милостыню от своих милых и кровных. Осталось еще полтора года. Вероятно, они будут самые тяжелые без помощи, при моем нездоровье. Все три последних месяца я не слезал с постели – от тяжело<го> гриппа, теперь хожу, но плохо, и глубокий непрерывный бронхит истерзал меня. На великую беду Толечка обещал платить за лучшую и теплую комнату, я поверил, переехал, но теперь меня гонят за неуплату. Обещание осталось лишь словами. Неимоверная горечь на мои старые раны!

У вас там весна, а здесь мороз, – едва почернела дорога. Если возможно, не оставьте меня на праздники без милостыни! Прошу и молю Вас! Если зайдет милый Толечка – поговорите с ним о ковре. Скажите ему, что не было бы для меня лучшей радости знать, что мой любимый и заветный ковер украшает его комнату! Но он ведь при деньгах, знает мое исключительное горемычное положение, почему же он уклоняется от уплаты за него каких-то грошей?! Прошу Вас передать ему точно эти слова! На днях ухожу опять в конуру за 25 руб., полутемную и сырую. И то слава Богу. Город не имеет жилплощади. Крепко обнимаю Журавиного Гостя, большим крестом благословляю крестника. Земно кланяюсь Вам! В предыдущем письме я просил Вас раздобыть мне что-либо из белья. На мне одни лохмотья! Восемь месяцев не был из-за болезни в бане. Самому не дойти, а помочь некому. Прощайте. Живите. Прошу о весточке! Адрес можно: Мариинский пер., 38, только заказным письмом, простое не передадут.

Такие варнаки около меня.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ВАЛЕРИЯ ДОМАНСКОГО

В творческом наследии Николая Клюева особое место занимают сибирские письма поэта. Это и вопиющие документы трагической эпохи 1930-х гг. и подробнейший лирический дневник его души, отражающий физические и духовные страдания ссыльного поэта, пребывавшего на протяжении трех лет в экстремальных условиях неволи и выживания, под постоянной угрозой гибели от голода, холода, неоказания вовремя медицинской помощи. Вместе с тем его письма – ярчайшие образцы эпистолярного жанра, представляющего собой необычный сплав разных стиливых форм, которые уходят своими корнями к древнерусским жанрам плача, проповеди, молитвы, слова, исповеди, духовного завещания.

Основной корпус сибирских писем Клюева адресован трем особо значимым в его судьбе людям: Надежде Федоровне Христофоровой-Садомовой, близкой по духовным интересам и ценностям певице, вокальному педагогу Варваре Николаевне Горбачовой, жене поэта Сергея Клычкова, и молодому художнику Анатолию Яр-Кравченко, возлюбленному другу и духовному сыну. Кроме этих трех самых главных адресатов в сибирском эпистолярном творчестве Клюева есть еще ряд писем, адресованных друзьям, знакомым, властям, в Союз писателей. Клюев обращался с просьбами к московским знакомым – певице Н. А. Обуховой, дирижеру Большого театра Н. С. Голованову, председателю Красного Креста Е. Пешковой – ходатайствовать перед властями о смягчении своей участи.

Сибирские письма Клюева составляют два больших блока: письма из Колпашева и письма из Томска. Колпашевские письма создавались в период с 31 мая по 7 октября 1934 г. – времени нахождения поэта в Колпашевской ссылке. Они воспринимаются отзывчивым читателем как крик души поэта, просьба о милосердии, материальной и духовной поддержке. Письма необычные, гениальные, несмотря на явное следование канонам древнерусских плачей и житий великомучеников. Письма высокохудожественные, их нельзя читать без душевного отклика и глубокого проникновения в душу ссыльного поэта, который вдали от Москвы, налаженного быта оказался в полузвериных условиях существования и вынужден бороться за свое выживание. «Я погибаю в жестокой ссылке, помогите мне, чем можете. Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны», обращается он к И.Э. Грабарю (Словесное древо, с. 346). В другом письме от 5 июня 1934 г., адресованном Анатолию Яр-Кравченко, опять вопль, отчаяние: «Кругом нет лица человеческого, одно зрелище – это груды страшных движущихся лохмотьев этапов. Свежий человек, глядя на них, не поверил бы, что это люди <...>. Все потрясающе несчастны и необщительны, совершенно одичав от нищеты и лютой судьбы. Убийства и самоубийства здесь никого не трогают <...> люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастья. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть?» (Наследие комет, с. 175–176).

Колпашевцы, по моему опыту общения с ними, несколько

настороженно относятся к этим письмам, в которых их родной город назван «глиняным бугром», рожденным «болотным чертом». Уже в первом письме к А. Яр-Кравченко 5 июня 1934 года Клюев изображает Колпашево как «место посреди тысячеверстных болот и залитой водой тайги: <...> Никакого пейзажа – угрюмая серопепельная равнина, над которой всю ночь висит толстый неподвижный туман, не поддающийся даже постоянному тундровому ветру (Наследие комет, с. 175)». Близкую этой картину изображает поэт и в письме от 10 июня 1934 г. Сергею Клычкову: «Небо в лохмотьях, косые налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер – это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима...» (Словесное древо, с. 310).

Жителям Нарымского края гораздо ближе описание Колпашева, которое оставила Вера Пришвина. Она сумела полюбить величественную сибирскую природу, восхищалась ее красотами. Но у нее не было таких эсхатологических предчувствий своей неминуемой гибели, как у Клюева с его «метельным Нарымом», который, как известно, грезился ему еще задолго до сибирской ссылки. Предощущением своей неизбежной гибели поэт постоянно делится со своими адресатами. Так, в одном из своих первых нарымских писем к А. Н. Яр-Кравченко уже появляется эта неизбежная тема смерти в губительном для него Нарыме: «В сентябре уже ледовитый снег, и так до половины мая. Гибель моя неизбежна. Я без одежды и без денег (Наследие комет, 175)». То же самое чуть позже, в письме к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 28 июля: «Недавно был на жалком местном кладбище – все печальные бугорки, даже без дерна, без оградок и даже без крестов. Здесь место вечного покоя отмечается по-стоячки – колом. Я долго стоял под кедром и умывался слезами: «Вот такой кол, – думал я, – вобьют и в мою могилу случайные холодные руки» (Словесное древо, 327).

Томские письма Клюева более разнообразны по своей тематике, своим функциональным стилям и адресованы большому количеству адресатов, хотя тройка самых близких ему людей здесь также лидирует. Сначала в этих письмах опять же преобладает плач поэта о своей горемычной жизни в Томске: «Живу в общей избе с жестянщиками – часто пьянки, смрад, страшные морды...» (Словесное древо, 349). Новые подробности в другом письме: «За дощатой заборкой режут ребята, рыжая баба клянет их, от страшной общей лохани под рукомойником несет тошным смрадом...» (Словесное древо, с. 378). По причине тяжелых материальных условий, в которых живет поэт в Томске, присутствуют негативные характеристики в его общих суждениях о нашем городе: «Томск – город путанный, деревянный, утонувший по уши осенью в грязи, а зимой в снегах» (Словесное древо, 340). Еще более негативная характеристика дана городу поэтом после его нового ареста в письме В. Н. Горбачевой от 10 августа 1936 года: «Вам говорили, что Томск город университетский. Для кого – как, а для меня это пустыня, гноище Иова. Для кого озеро Лаче, а для Даниила Заточника оно было озером плача» (Словесное древо, с. 383–384).

Особенно тяжкими для поэта оказались первые месяцы его пребывания в Томске, когда он в холодную зиму, без валенок и полушубка,

вынужден был просить милостыню в базарные дни на Каменном мосту. Денежная помощь от друзей все запаздывала, а право распоряжаться его вещами с целью их продажи В.Н. Горбачова по доверенности получила только 20 февраля 1935 года (Словесное древо, с. 414–416). Декабрьское письмо поэта 1934 года к В.Н. Горбачовой позволяет перенестись в жуткую атмосферу его будней: «В Томске глубокая зима. Морозы под 40°. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб. Деньги от двух до трех рублей – в продолжение почти целого дня – от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда и бывает мой выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлебку, куда полагаю все: хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немного клеверного сена, если оно попадает в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало. Сахар великая редкость. Впереди морозы до 60°, но мне страшно умереть на улице» ...» (Словесное древо, с. 347).

Постепенно в томских письмах поэта затрагивается ряд новых тем, развиваются новые сюжеты. Интересны, например, этнокультурные суждения поэта о Сибири как перекрестке культур: «Сибирь мною чувствуется как что-то уже не русское: тугой, для конских ноздрей, воздух, в людской толпе много монгольских ублюдков и полукровок <...>. В подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиамы, не то Индии. Все это уже не костромским суслом, а каким-то кумысом мутит мое сердце <...>. В обиходе встречаются вещи из черненой меди, которые, наверное, видели Ермака и бывали в гаремах монгольских Каганов. Великое множество красоты гибнет» (Словесное древо, 373–374).

Совсем новое в его томских письмах – это богословские сюжеты, духовные трактаты и притчи, среди которых особое место занимает его философско-религиозный трактат «Очищение сердца», еще ожидающий своего исследователя. Письма-проповеди, религиозные трактаты свидетельствуют о том, что Клюев пытается очиститься от своих прежних грехов, стать в сознании своих современников или новым Шевченко, или великомучеником Николаем. Не случайно поэт часто обращался к своему любимому святому – черниговскому Николаю Святоше.

Из томских писем поэта мы узнаем о его бедствиях и маленьких радостях, его занятиях и знакомствах, пешеходных маршрутах по Томску, его любимых местах для прогулок и посещения, среди которых он выделяет Белое озеро, Троицкую церковь, Юрточную гору, где покоятся мощи Федора Кузьмича, университетскую библиотеку, старинное православное кладбище. Томские письма показывают, как постепенно возрождается поэт после сильных физических и духовных потрясений. Даже в суровых условиях поэт активно творит: «Моя славянская муза не покидает меня. Ее тростниковые свирели – много образней и ярче всех прежних. Я написал две больших поэмы потрясающих по чувству и восточной красоте», – признается он в письме к А. А. Рудаковой от 2 марта 1935 г. (Словесное древо, с. 355).

Но новый арест Клюева в июне 1936 года, а затем его тяжелые

болезни – паралич левой части тела, воспаление легких, тяжелый грипп с осложнениями – совершенно подорвали его здоровье. У поэта не хватает просто сил на большие письма, виртуозно украшенные плетением словес. В них, как и в последнем, сохранившемся стихотворении Клюева «Есть две страны: одна Больница...», все настойчивее звучит тема прощания и духовного завещания.

Назову основные издания, где публиковались сибирские письма Клюева:

1) Николай Клюев в последние годы жизни: письма и документы // Новый мир, 1988. № 8. Публикация, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии Г.С. Клычкова и С.И. Субботина;

2) Клюев Н. А. Словесное древо. Проза/Вст. ст. А.И. Михайлова; сост., подготовка текста и примеч. В.П. Гарнина. – СПб., 2003.

3) Особо хочу выделить издание «Наследие комет»: Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре. Москва–Томск, 2006. Книга была издана при содействии Томского государственного университета и личном участии автора данного послесловия. В ней помещена полная переписка поэта с семьей Анатолия Кравченко, а также произведена первая публикация сохранившейся в архиве семьи Т.А. Кравченко нарымской поэмы Клюева «Кремль».